АНАСТАСИЯ НОРД

МИХАИЛ УВАРОВ

РОМАН



НЬЮ ИОРК 1954.

АНАСТАСИЯ НОРД

МИХАИЛ УВАРОВ

РОМАН



НЬЮ ИОРК 1954.

ОТ АВТОРА.

Одному из моих критиков показалось обидным для Белой Армии то, что я в своей повести между прочим рассказала о дебоше „под пьяную руку" небольшого Белого отряда. К сожалению, в те времена „всяко бывало". Рядом с исключительной жертвенностью и героизмом бывали и неблаговидные поступки. Но вся армия за поведение отдельных лиц и даже отрядов отвечать не может.

Точно так же перед революцией, когда Россия переживала политический кризис, даже на высоких постах, встречались иногда люди своими поступками дискредитировавшие режим.

Среди русских интеллигентов многие в поисках того, что им тогда казалось правдой, примыкали к революционному движению. Но действительность чаще всего разрушала их идеал. Для многих из них это было настоящей трагедией.

Таким был Михаил Уваров, которому посвящена эта книга.

По ошибке издательства моя повесть названа романом. В тексте допущена неточность: „Ревком" назван „обком".

ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ.

„Книга с первой же страницы, читается с неослабевающим интересом до конца.

Автор, взяв из многих тысяч русских юношей, попавших в революционный водоворот, одного, по имени Михаил Уваров, показал перед читателем весь его путь, начиная со школьной скамьи, через революционный кружок, партию, гражданскую войну и гибель...

Безразсудные растрелы в городе заставили Михаила задуматься над правотой новой власти...

Обком партии и чека решили за связь с „зелеными", сжечь семь деревень. Увидя зарево, и поняв, что этот приговор уже приводится в исполнение, Уваров прозрел. Вся партийная тина свалилась. Он почувствовал себя человеком. Решив как нибудь спасти крестьян, он подбежал к цепи красноармейцев: „Прекратить огонь! Остановитесь! Отменили! Приказ из Киева по телефону..."

Но было поздно: огонь охватил уже все хаты. Поздно и раскаялся Уваров. Подбежавший к нему крестьянин свалил его с ног, а другой размозжил голову топором.

Правдоподобны своей людской простотой и остальные герои повести. Свою задачу показать живых людей, Анастасия Норд выполнила.

„Русская Жизнь" 23 октября 1954 года.

„Михаил Уваров" — произведение выдающееся и оригинальное. В предельно сжатой форме, несколькими большими мазками, автор развертывает огромную картину, полную мыслей и образов.

Герой романа, Михаил Уваров, участник гражданской войны, красный командир и член ревкома.

По своему прошлому он должен был бы принадлежать к тому поколению „профессиональных революционеров", которые составили кадры ленинской партии, сумевшей „подобрать власть" в октябре 1917 года.

Типичных для большевика качеств у Михаила Уварова не было. Ему не удалось ни порвать своих общественных связей, ни преодолеть в себе „остатков буржуазной идеологии". И отсюда его трагедия.

Трагедия Уварова не только его личная. Она типична для очень многих интеллигентов, которых стихия ли, сложившиеся обстоятельства, постороннее ли влияние или недостаточно проверенный идеализм, занесли в лагерь

большевиков, но без того, что бы они сами принадлежали к „людям другой породы”.

...От революции уваровы ждали не того, или не совсем того, что она неизбежно несла с собою... Революция в том виде, в каком она обернулась не в мечте, а в жизни, в уваровых не нуждалась. Она списывала их со счета не так, так иначе... Революции нужны были люди, свободные от „пережитков прошлого...”

Интеллигента Уварова больше всего смущает одна мысль: Можно ли убивать невинных людей? Кто дал человеку право вообще убивать?

Лучшее место в повести Анастасии Норд, это ответ, который дает на этот вопрос убежденный, крепко верующий и пебедивший в себе „остатки прошлого” чекист Вейш.

Здесь целый „катехизис революционера”, изложенный с неподрожаемой простотой и предельной ясностью: „Плотина прорвана, и кто может остановить поток? А ты говоришь: кто дал право убивать их?.. Приговор давно подписан, раньше тебя... Волна сметает людей и богов... Если Бог с ними не солидарен, — они Его отвергают... Теперь, когда тебя захватил поток, стой на своих слабых ногах и старайся удержаться среди этого пенящегося потока... Пришло их время, достигнут вершины. Достигнув, подберут осколки и начнут строить.

Иием ли право? Милый, наивный человек!.. Жалость — чувство мирного времени, когда старушка жалеет сиротку. Теперь не время жалеть ни сиротку, ни старушку... Вот хотя бы ты. Ты сам идешь к гибели. Ты потерял веру, ты уже мертвый”.

„Старайся удержаться среди пенящегося потока...” Уваров не удержался. Поток неудержимо струится вперед, всех и все снося на своем пути. Но есть историческая Немезида в том, что он сносит и тех, кто волей, или не волей вызвал его к жизни.

Ведь потока могло бы и не быть. Поток мог бы быть во время запружен, если бы... Но этого „если бы" не случилось... По чьей вине? Повесть Анастасии Норд заставляет нас еще раз задуматься. И совсем не нужно бояться, если не вся вина за то, что случилось, окажеться только на одной стороне. Виновные бывают не только победители, но и побежденные. Но для побежденных важнее сознать свою долю вины, чтобы избежать новых поражений в будущем.

„Посев", 7 января 1955 года.

„Посвященная истории одной человеческой жизни, русскому интеллигенту-идеалисту, не разобравшемуся в большевизме и перешедшему на сторону большевиков после октябрьского переворота, повесть А. Норд, несомненно, имеет ряд безусловно положительных черт. Михаил Уваров абсолютно реалистичен. Ибо всякий искренно поверивший в большевизм и честно ему служивший во имя интересов народа, неизбежно придет с ним в столкновение, что и приведет его к гибели. Уваров еще не дошел до этого момента своего отношения к большевицкой власти, но он уже накануне конфликта и его преждевременная гибель — результат первой стадии разочарования в большевизме...

В целом, книга А. Норд представляет несомненную ценность, как с художественной, так и публицистической точек зрения".

„Новое слово", 18 мая 1955 года.

ЧАСТЬ I

ДЕТСТВО

Когда Уваров думал о своем детстве, чаще всего он вспоминал отца: тихий, скромный, со всеми ласковый и приветливый. Никогда не слышал Миша, чтобы отец досадовал или роптал на свою тяжелую трудовую жизнь, — наоборот, казалось, что это был человек, нашедший разгадку жизни, видящий пред собой светлую цель и идущий без колебаний по своему жизненному пути.

Но что ярче всего светило в детских воспоминаниях, — это поездки на озера, рыбу ловить.

Выходили с вечера и направлялись в какую-либо деревню на озерах, к знакомым крестьянам-рыболовам. Ночевали, обыкновенно, в сарае, на сене, вместе с хозяином; и раненько, до зари, шли на дымящееся утренним туманом озеро. Шли лугами, спугивая птичек и сбрасывая росу с высокой луговой травы.

Взойдет солнце, озарит своими радостными лучами и лес, и поля, и озеро... Осветит лодку на озере и мальчика, сидящего на корме. Сидит маленький Миша, весь окутанный теплыми лучами восходящего солнца. Заронит солнышко свои светлые лучи в чистую душу детскую и на всю жизнь согреет ее своим теплом и светом.

***

Кроме отца, у Миши был еще один друг, его школьный товарищ Саша Журавский. Сидели они на одной скамье, но подружились не сразу. Первые недели они как-то друг друга не замечали, но случай сблизил их.

Однажды Саша шел по коридору и ел яблоко. Их одноклассник Козлов, драчун и забияка, пробегая мимо Саши, ударил его. Яблоко выскочило из руки, больно ударило Сашу по лицу и покатилось по полу. Саша был мальчик болезненный и слабенький. Он прислонился к стене и от боли и обиды расплакался. Это

окончательно испортило к нему отношение товарищей. „Плакса... девчонка... слюнтяй!".. — слышалось со всех сторон. Каждый считал своим долгом толкнуть, ущипнуть Сашу, который даже и не пытался защищаться.

Вдруг среди толпы учеников, окружавших Сашу, появился Миша. Он был бледен от возмущения, и глаза его горели. Несколькими яростными движениями, он разбросал толпу обидчиков, стал рядом с Сашей и, выставляя вперед свои кулаки, сдавленным голосом проговорил:

— Ну-ка! Попробуйте — подойдите...

Чувствовалось, что злоба давала ему несвойственную мальчику силу, и дети расступились и разошлись, бормоча какие-то неопределенные слова, — нето примирения, нето угрозы.

С того дня Саша почувствовал себя под мишиной защитой, и этот случай положил начало тесной дружбе обоих мальчиков.

⁂

В средних классах гимназии Мише пришлось пережить тяжёлый случай, оставивший след на всю его жизнь. Однажды пришел его отец домой из школы и как-то странно, не раздеваясь, прошел прямо в столовую и опустился на кресло возле окна.

— Случилось что? — спросила мать тревожно.

— Да, у меня вышел неприятный разговор с директором...

— Ну, ничего, обойдется.

— Нет, навряд ли. Директор вызвал меня и предложил поставить ученику Круглову удовлетворительную годовую отметку. Я объяснил, что Круглов ленивый мальчик, в училище ходит неаккуратно, на уроках невнимательный, только мешает. — „Да, но за Круглова меня просил губернатор лично", — проговорил директор многозначительно. — Нет, говорю это невозможно, скажите губернатору... Но директор и не дослушал меня. — „Я даю вам три дня одуматься, — сказал

он, — и предупреждаю, что ваше упорство может иметь очень плохие для вас последствия"...

Отец замолчал. Мама стояла возле него, обняла и ласкала его седеющую голову, как бы желая закрыть ее и от губернатора и от директора.

Губернатор не мог себе представить, чтобы его просьба не была исполнена. Он ждал несколько дней, неделю и, наконец, имел серьезный разговор с директором. В отказе учителя Уварова он видел неповиновение, протест и даже оппозицию по отношению к правящим кругам и находил, что подобный элемент вреден, — тем более, среди воспитателей юношества. Директору пришлось предложить Уварову подать в отставку.

Это событие совпало с переходным возрастом Миши из ребенка в юношу, — Возраст, когда юноша ищет правды и особенно болезненно реагирует на всякую несправедливость и готов отдать себя на защиту обиженного.



В школе случился еще один факт, совершенно изменивший мишино положение.

Друг Миши, Саша Журавский, был мальчик болезненный, часто пропускал уроки, и Миша ему помогал по математике, в чем чувствовал себя сильным. Однажды Саша обратился к Мише со словами:

— Вот, Миша, как много ты мне помогаешь, без тебя мне было бы очень трудно идти с классом, но мне совестно, что я ничем не могу быть тебе полезным. Ты не обижайся, но мне пришло на мысль, что было бы справедливо, если бы я тебе давал... совсем другое. Видишь, сколько мне мама дает на завтрак, — я никогда не могу всего съесть. Сделай мне радость — будем делиться. Мне так будет приятно, что и я могу для тебя что-нибудь...

— Хорошо, — сказал Миша, — ты мне друг, и я

могу от тебя принять. Только для меня из дома ничего не бери, а будет лишнее — спасибо.

То, что Саша делится своими завтраками с Мишей, послужило темой для разговоров и споров среди учеников. Некоторые находили, что это не по-товарищески, со стороны Миши, брать плату за свою помощь, другие, наоборот, говорили, что именно по дружбе можно и помочь и принять.

Были у Миши недоброжелатели среди учеников, они старались восстановить и остальных, и, наконец, ему был брошен открытый вызов.

Миша объяснял Саше задачу. К ним подошло несколько учеников. Один из них, Коренев, сын известного в городе купца-богача, произнес развязным тоном:

— Послушай, Уваров, напиши мне к пятнице русское сочинение, я принесу тебе хлеба с медом.

Уваров вспыхнул, но сдержался.

— Нет у меня времени тебе сочинения писать. А сам что, — или лень?

— Совершенно верно. Лень-матушка раньше нас родилась. Да что ты отказываешься? Я меду тебе не пожалею...

— Да что тебе меду жалеть, — вступился третий ученик, — небось, у твоего отца мед стоит ведрами.

— Ведрами — не ведрами, а бочками, — хвастнул Коренев.

— Ну, видишь!

— Что „видишь"?.. — у Коренева заговорила купеческая жилка. — Что „видишь"? Что ты думаешь, — за мед денег не плочено? Да я не считаю, все равно, сказал принесу, так не пожалею.

Мише весь этот разговор надоел.

— А иди ты к чорту, со всеми твоими бочками! Не мешай, сейчас звонок.

Коренев отступил на шаг, стал в вызывающую позу и, медленно отчеканивая слова, произнес:

— Посмотрите! Ишь, отъелся наш голодающий индус на чужих завтраках — зазнался!..

Тон и слова Коренева были настолько оскорбительными, что Миша больше не сдержал себя. Одним прыжком он подскочил к Кореневу и со всего размаха ударил его кулаком по лицу. Лицо Коренева побагровело, и из носа хлынула кровь.

Подоспел дежурный учитель. Мишу вызвали в учительскую. После долгого выговора, Мише предложили перед всем училищем извиниться перед Кореневым, на что Миша ответил:

— Он первый оскорбил меня, — пусть он первый извиняется, тогда и я извинюсь.

Директор повернулся в сторону учителей и со злобной усмешкой произнес:

— Такой же упорный, как и папаша. Яблоко от яблони недалеко падает...

Этот случай сильно взволновал все училище. Большинство учеников было на стороне Миши: „Молодец, Мишка, так ему и надо!.. А здорово ты его звезданул!.. Правильно! пусть не воображает, что раз богач, так ему все позволено"...

Учителя тоже обсуждали случившееся: они сочувствовали тяжелому матерьяльному положению семьи Уваровых, ценили Мишу, как серьёзного и прилежного ученика, и выходка Коренева всех возмущала.

Между тем, отец Коренева побывал у директора и, скрепив свою просьбу хорошим подарком, просил уволить Мишу из гимназии.

На педагогическом совете директор обратился к учителям, — сказал несколько слов по поводу „возмутительного поведения ученика Уварова, не только в отношении своего товарища Коренева, но и в отношении директора, что выразилось в неповиновении, а это служит весьма плохим примером для всего училища", — и предложил исключить Уварова из гимназии. Вопрос был поставлен на баллотировку.

Один старенький учитель нерешительно произнес:

— Конечно, нельзя поощрять подобные факты...

Еще один учитель пробормотал что-то не в пользу Уварова. Казалось, дело начинало принимать плохой для Миши оборот, так как остальные учителя боязливо отмалчивались, как вдруг поднялась со своего места учительница Лина Карловна Ворш.

— Господа, — сказала она тихим, но отчетливым голосом. — Нам дано право голоса на собраниях учителей. Нам дано это право. Мы можем открыто высказывать свое мнение, даже если оно не совпадает с точкой зрения нашего начальства. Так зачем же мы сами у себя это право отнимаем, аннулируем его?..

— Ей хорошо говорить, — сказал молодой учитель, нагибаясь к своему соседу.

— А что?

— Как что? Губернатор женат на ее подруге. Тоже немка, из одного города.

— Положение завидное! — усмехнулся сосед.

Ворш продолжала:

— Я знаю, что все учителя, — я подчеркиваю: все, — возмущались наглостью ученика Коренева и сочувствовали выведенному из терпения Уварову, и если его поступок был резким, то понять его можно. И теперь исключать было бы возмутительно. Таково мнение города, а не только мое. Я думаю, мы не станем в оппозицию с общественным мнением и не сделаем такой несправедливости.

Лина Карловна предложила не торопиться с этим вопросом, директор охотно согласился „отложить". Так решилась судьба Миши — он остался в училище.

* * *

Когда Миша переходил в последний класс гимназии, в ней произошли большие перемены. На место умершего старенького инспектора, учителя истории, прислали из Петербурга молодого — Ивана Ивановича

Левицкого. На следующий же день он явился к директору.

— Скажите, вы не родственник ли известного ученого, профессора Левицкого? — спросил его директор.

— Это мой отец.

— Так что же заставило вас согласиться ехать в такую провинцию, как наш городишко?

— Я сам просил о назначении. Я изучаю быт, язык, нравы народов, населяющих Россию, и именно в более глухих местах.

— И вы думаете, что наш городок вам даст исчерпывающий матерьял?

— Конечно, нет! Но мне уже удалось побывать в Новгородской губернии, Вологде, на среднем течении Волги, на Кавказе. Вот, поживу на Украине и поеду в Сибирь.

— Так, так... А что, собственно, побудило вас к педагогической деятельности?

— Любовь ко всему молодому. Меня увлекает их любознательность. В их среде я чувствую и себя учеником, товарищем их. С вашего разрешения, мы организуем кружки. Многое можно внести в школьную жизнь.

— Да, да... я вижу, вижу — у вас большой запас энергии...

Не взлюбил директор нового учителя.

— Я не знаю, — говорил он своим друзьям: — Иной раз я спрашиваю себя, директор ли я в своем училище. Я уже больше не распоряжаюсь, а только соглашаюсь. Не дай Бог этих господ с протекцией! Поверите ли, на собраниях я чувствую, как ток проходит и рушит все устои школы. Нет, нет! Правда — если Ворш и Левицкий присутствуют (между прочим, они хорошо друг друга понимают), — я чувствую, как будто сквозняк тянет по собранию. Я съеживаюсь... иной раз не решаюсь высказать свое мнение.

— Да зачем же вы им все это позволяете? — спрашивали его друзья.

— Как зачем? Попробуй, не позволь, — сразу пришьют ярлык: „устарелый, отсталый"... И — в отставку. Мало, вы думаете, таких молодчиков на мое место зарится?

Свои намерения Левицкий приводил в исполнение. Как грибы на дожде, выросли кружки — театральный, музыкальный, спортивный. Возле себя он сгруппировал любителей истории, старины и русской культуры. В свободные дни они объезжали села, записывали песни, характерные выражения, расспрашивали стариков о народных преданиях. Преобразилась школа, и ученики шли в нее с радостью и интересом.



Левицкий ввел еще одно новшество. Он предложил ученикам делать доклады по истории, причем темы и время доклада они назначали сами.

— Темы могут быть в таком роде: „Реформы Петра Первого", „Время Бориса Годунова"„ Французская революцiя" и т. п. Подумайте, что вас интересует.

Дети задумались.

— Вот я хотел бы про старую Русь, — сказал мальчик из старообрядческой семьи, Николаев.

— А меня интересует царствование Иоанна Грозного.

— Ну, а ты, Уваров? — спросил Левицкий. Он отметил Мишу как развитого, способного ученика и хотел привлечь его к работе.

— Я думаю насчет революционного движения во Франции.

— Во Франции? А по-французски читаешь, понимаешь?

— Да, я владею французским.

— Где научился?

— Наша мать с нами всегда говорит по-французски.

— Великолепно! Поблагодари свою маменьку и при-

ходи ко мне. Я дам тебе большущую книгу Тэна. Там ты найдешь богатейший матерьял.

Рефератов набралось много, и решили им посвятить целый вечер. Зал наполнился учениками, пришли не только свои учителя, но и из других училищ, полюбопытствовавшие, как пройдет такое „новшество".

Первый доклад прочел ученик Фролов, на тему: „Иван Калита". Застенчиво, нерешительно стали поступать вопросы, докладчик и Левицкий давали пояснения.

Вторым докладчиком был Уваров. Он говорил горячо и ярко. Казалось, что все им сказанное нашло глубокое отражение в его душе.

— Король, боясь власти помещиков, решил оторвать их от их имений, на почве которых росло их могущество, и привлек их ко двору. Чтобы занять праздную толпу царедворцев, король придумывал целый ряд церемониалов, заполнявших весь день во дворце. Каждый шаг короля, каждое движение были облечены в церемонию. Итак, застегнуть пуговицу одежды короля или подать ему чулок — была единственная обязанность царедворца. Зато ему придется в продолжение дня появляться в целом ряде выходов и трапез, причем каждый раз он должен будет переменить свою одежу.

„А как изысканны были костюмы царедворцев! Нужно поражаться сложности причесок не только дам, но и мужчин. Маркизы имели каждая своего косметика и парикмахера. И чтобы они не могли выдать секретов, эти мученики были обречены на пожизненное заключение. А кружевницы! Тысячи женщин слепли в работе тончайших кружев, которыми, как воздушными облаками, окутывали себя маркизы.

„Жизнь при дворе не могла дешево стоить, и помещики требовали все больших доходов от своих управляющих, — те выжимали последние силы из крестьян... И постепенно обратили их из работников земли в нищую, голодную толпу, озлобленную, полную

чуства мести, которой уже нечего было терять...”

Директору не сиделось спокойно, он то и дело наклонялся к своему соседу, учителю истории другой школы.

— Было это так?

— К сожалению.

— Нет, нет, это очень утрировано!

Между тем, Уваров продолжал:

„А в городах! Там тоже было не лучше, бедняков за людей не считали. Запряженная шестью лошадьми, коляска вельможи мчалась по узким улицам города. Заслышав издали стук колес, матери бросались спасать, своих детей, игравших на улице, и нередко находили их искалеченными и раздавленными. Проклятия сыпались во след улетевшим вельможам.”

Здесь директор вынул часы и вполголоса обратился к Левицкому:

— Иван Иванович, не отложим ли на другой вечер? Завтра учебный день, вставать надо рано.

— Как хотите, можно и отложить.

У выхода Левицкого поджидал директор.

— Иван Иванович, вы же совместно выбираете темы. Мало ли о чем можно побеседовать. Ну, там... освобождение крестьян или царствование Великой Екатерины... Зачем останавливаться на таких страницах истории, как революция? Знаете ли, юные умы бродят, что молодое вино. Не следует подливать масла в огонь. Знаете ли, вы там доклады, а мне могут быть большие неприятности. Уж вы не сердитесь на меня, старика! — закончил он заискивающим голосом.

„Эх, болото! — подумал Левицкий, — и лягушки квакают”...

***

Левицкий предложил Мише работу: помогать ему систематизировать собранный ими матерьял. Работой этой заинтересовался и Саша, стал частенько заходить.

Так, работая по вечерам втроем, молодые люди быстро сдружились. Однажды Левицкий спросил:

— А что ты, Уваров, думаешь делать по окончании гимназии?

— Не знаю, хотелось бы дальше учиться, но средств нет.

— А чему учиться?

— Чему-нибудь, что свяжет меня с жизнью в деревне. Не люблю города.

На этом разговор оборвался,

Прошло несколько недель. Однажды Левицкий вышел Мише навстречу. Лицо его было оживленное и радостное.

— Идем скорее. Саша уже пришел. Я имею колоссальную новость!

И действительно — новость была замечательная. Левицкому удалось устроить Уварова в лесной институт, где работал его отец. Миша получит стипендию и платную работу в лаборатории профессора Левицкого.

В этот вечер Миша вписал в свой дневник, куда заносил лишь особо важные события:

„Ура! — я могу учиться дальше!..”



Бережно и любовно собирала Мишина мать своего сына в далекий Петербург. Приехал Миша к тетке Левицкого, где ему заранее была приготовлена небольшая, но уютная комната. В то же утро, он явился к профессору Ивану Георгиевичу Левицкому.

— Мне сын писал о вас, — сказал Левицкий, — как о добросовестном и способном работнике, и если желаете, у меня в лаборатории найдется для вас работа.

Миша поклонился, в знак согласия и благодарности.

— А пока, — продолжал профессор, — у меня к вам просьба есть. Мои дочурки меня давно звали с ними сходить на выставку, да все времени не было, а тут — читаю: последний день! И опять заседание! Не

будете ли вы так добры, сходите с ними. Вот я сейчас вас познакомлю... Лили! Нана!..

В комнату вбежали две прехорошенькие девушки, лет по семнадцати. Обе белокурые, голубоглазые, с яркими губками и блестящими зубками. Увидя незнакомого человека, они сразу потупились.

— Вот это — ванин ученик, господин Уваров. Ваня мне о нем много писал и очень с ним дружен.

Обе барышни слегка присели и наклонили головки.

— Господин Уваров так любезен, что согласился с вами сегодня на художественную выставку пойти.

Тут обе девочки вспыхнули, подбежали к отцу и одновременно поцеловали его с двух сторон. — „Какие они прелестные!" — подумал Миша.

— Ну, а теперь пойдемте-ка, я вас познакомлю с Марией Эдуардовной. Она нас угостит тарелкой супа с замечательными пирожками.

Так Миша вошел в семью Левицких. Профессор Левицкий был женат на француженке, — это внесло во весь склад его жизни нерусский характер. Их дочери-двойняшки, Лили и Нана, воспитывались в одном из французских монастырей и говорили по-русски с французским акцентом. После монастырской жизни, каждый пустяк приводил их в восторг, чем они чрезвычайно забавляли Мишу.

Знание французского языка и уменье держать себя в обществе открыли Мише двери в круг знакомых Левицких. Он быстро освоился с великосветской жизнью. Стройный, ловкий, хороший танцор, Миша быстро стал душою общества, окружавшего девочек Левицких. Французы говорят: „Одежда делает человека". В этом есть доля правды. Посмотрите на этого красивого молодого человека, затянутого в хорошо сшитый мундир: как уверенны его движения, как хорошо он себя чувствует в ложе оперы или в мягких креслах великосветской гостиной! Это не тот, совсем не тот гимна-

зистик-Миша Уваров, давно выросший из своей курточки с короткими рукавами и в коротких брюках.

***

ПИСЬМО САШИ

„Как живо ты описываешь мне петербургские балы! Да, я тоже мог бы увлечься этим шумом, блеском. Остроумные юноши, всегда веселые девушки, шутки, смех, — все это украшает жизнь, делает ее праздником, блестящим сном... Но понимаю также, что в последнем твоем письме проглядывает нотка пресыщения. Да, такая жизнь хороша, но если она не дает ничего нового, то скоро теряет свое обаяние.

Мы смеялись с мамой над твоим чувством к двум сестрам сразу. Бедный Мишук! Действительно трудно сделать выбор, если Нана ничем не отличается от Лили."

ПИСЬМО МИШИ К САШЕ

„Все-таки, французский дух в семье Левицких мне не по душе. Разве наши русские девушки могут быть до такой степени безличны? Это полное отражение воли „petite maman".

Не думай, что во мне говорит ревность или досада. Ревновать пока не к кому, а кроме того, женитьба на Левицкой привязала бы меня к городу.

А если подумать: всю жизнь прожить в такой каменной коробке, под этим серым небом, в сумерках и сырости здешнего тумана. Как цель жизни — поставить себе служебную карьеру и ради этого отказаться от собственного мнения, говорить и думать только „что прикажут", превратиться в петербургского чиновника. А дома иметь Лили или Нана, очень милую жену, умеющую принять не только интимный кружок, но и большое общество. Она будет хорошо причесана и одета. Жизнь будет регулирована по часам и сезонам. Но не

ищи в ней русской девушки, — друга, товарища, опору в трудные минуты, женщину -борца, мыслителя, человека, идущего рядом с тобой и увлекающего тебя вперед...

Нет, я создал себе совсем иной образ спутницы моей жизни."



— Ну, где он, наш великосветский лев, победитель девичьих сердец? — услышал однажды Миша голос Ивана Ивановича.

— Где он тут? Ах ты, соня! Еще спит! А я, милый мой, с утренним поездом. Побывал у батюшки, поцеловал руку мачехи, наслушался восторгов о тебе от сестренок и пришел тебя будить.

Миша протанцевал всю ночь и не мог понять, где он находится и откуда взялся его приятель Ваня.

— Ну, да проснись же ты! Рассказывай, как ты тут живешь. Отец говорит, что работаешь усердно. Ну, а как столица? Что тебя поразило? Что нравится и чем недоволен?

Миша совсем проснулся, наскоро оделся и за чашкой чая вспомнил заданные Ваней вопросы.

— Что мне нравится, — это чувство, что от тебя ничего не требуется. Плыви по течению. Я чувствую себя маленькой песчинкой, винтиком в большой машине. Миллионы таких песчинок плывут рядом, по течению, подчиняясь общему потоку, имеющему общее правило — моды. Мода — это закон для столицы. Не только для одежды, но и для всего уклада в твоей жизни и даже твоей мысли. Портной делает твою наружность, газета уразывает тебе направление... А думать или чувствовать что-либо свое, вне этого потока, — пусть песчинка попробует не плыть по течению...

— Вот оно что! — проговорил Иван Иванович задумчиво: — Ты как будто не очень очарован столицей.

— Нет, не говори. Этот поток увлекает меня, дает новые ощущения. Только иной раз мне кажется, что я не могу себя найти... как будто мое „я" сведено на нет, им никто не интересуется. Наоборот, мне кажется, вздумай я высказать свое особое мнение, — это нашли бы неприличным.

— Так, так. Ну, это первое впечатление, потом ты найдешь и себя и свое мнение, только надо знать, в каких случаях его высказывать. Ну, а что скажешь о сестренках?

— Прелестны. Я не могу ими налюбоваться, а наивность их иной раз.... Знаешь, недавно... Ну, конечно, надо их знать...

— Ну, что там было?

— Нет, я не осуждаю их, это вышло у них так наивно, так красиво.

— Да что там произошло Ну, рассказывай.

— Ничего особенного. Были мы в Эрмитаже. Входим в один зал, а там стоит группа, человек пятнадцать иностранных офицеров. Ну, как полагается офицерству: мундиры, шнуры, сабли, каски. Мои девочки, как увидели их... Нет, это передать трудно... у них так хорошо вышло... Увидели. они эту пестроту, как захлопают в ладоши: „Oh, que c'est joli les officiers!.."

— Ха, ха, ха! — расхохотался Иван Иванович — ну, и удружили! Воображаю, какая у тебя была глупая рожа!

Рожа? — не знаю. Немного обалдел — это так.

— Ну, а те, красавцы; что они?

— Нет, нет, ничего. Надо им отдать справедливость,; очень корректно, мило улыбнулись и, в знак благодарности, отвесили почтительный поклон.

— Да, да, я тебе говорю: эти сестренки забавные, хорошие девочки, а все-таки, что-то чужое в них есть. Чего-то нехватает, — души нашей, русской, что ли...

ПИСЬМО САШИ

„Вот и весна настала. Давно мы не писали друг другу. Так хотелось бы не письмо, а поговорить с тобой. Жажда видеть, беседовать долго, часами... Брось ты свои дела, закончь наскоро работы, приезжай к нам в деревню. Я чувствую, что не надолго меня хватит... Устал писать, Мишук. Я жду тебя."

ПИСЬМО САШИНОЙ МАМЫ

„Дорогой Миша, пересылаю вам письмо, написанное Сашей в последний день его жизни. Как жаль, что вам не удалось приехать. Он очень вас ждал. Скончался Саша очень тихо. С вечера он рано уснул. Перед рассветом он позвал меня: „Позови папу. Мне хочется быть с вами". Когда пришел отец, он, с улыбкой, както особенно озарившей его лицо, произнес: „Я не уйду от вас, я всегда буду с вами. Я ухожу в лучший мир. Радость заполняет мою душу. Не омрачайте ее своими слезами. Я буду вас ждать. Скоро и вы ко мне придете, и мы никогда больше не расстанемся".

Потом ему трудно было говорить. Он держал наши руки в своих и смотрел на нас. Лицо его осветилось восходящим солнцем и, казалось, само стало лучезарным. „Тише, — прошептал он' — я вижу Его, Он здесь. Я с Ним уйду к Отцу Его и Отцу нашему".

Это были его последние слова. Миша, милый! Исполним его последнюю просьбу — не будем о нем горевать, не будем плакать!..

Заезжайте к нам в Журавлевку — отдохнуть после города. Мы будем вам рады, — ведь вы были его единственным другом.

Всей душой ваша Елизавета Журавская."

ПОСЛЕДНЕЕ САШИНО ПИСЬМО

„Ах ты, Мишук, Мишук! Возишься ты со своими анализами и все сидишь в этом пыльном Петербурге.

Брось все! Мне так тебя нехватает... Я привык чувствовать и мыслить не „я", а „мы" с тобою. Завтра допишу письмо, а сегодня что-то спать хочется..."



Так письмо и осталось неоконченным. Слезы брызнули из мишиных глаз от досады, от боли, что не удалось последних сашиных дней провести вместе. Конечно, так просто было — все бросить и уехать.

Теперь он так и сделал и через несколько дней был в Журавлевке.

ВАРВАРА

На летние работы Уваров был командирован в ближайшее лесничество. Поселился он в деревне, в семье зажиточного крестьянина. Здесь он познакомился с дочерью хозяина, Варварой, которая в его жизни сыграла роль первой женщины. Варвару красивой нельзя было назвать, но в расцвете ее двадцати лет она дышала молодостью и здоровьем и как нельзя лучше гармонировала с окружающими ее полями. Ее лицо, обыкновенно, миловидное, становилось ярким, когда она смеялась. Особенно лучистыми были ее большие серые глаза, а улыбка открывала два ряда ровных белых зубов.

В тот год семья Варвары переживала тяжелое время: отца ее придавило при рубке березы, и хотя удалось его извлечь из-под дерева живым, все же поправиться он уже не мог. Варвара с матерью бились одни на большом хозяйстве.

Трудно справляться без мужчины. Миша решил задержаться после работ и помочь им на сенокосе.

Луга находились по низкому берегу Днепра. Выехали с вечера. Кроме Миши, были еще два работника и две девушки. Пока косили, сушили первые полосы, все шло чин-чином. В пустом еще сарае разместились, в противоположных концах, — мужчины и девушки

отдельно. Но когда сарай до половины наполнился душистым сеном, картина резко изменилась. Молодежь поделилась на парочки (потому что первый раз на сене спать в одиночку не годится — примета плохая). Девушки искали поукромнее уголочка, парубки помогали им вытатывать „гнездышки". Смех, крик, визг стояли в сарае.

Миша залез на самый верх, у маленького круглого окошечка под крышей, боясь, что в сарае будет душно спать. За день он устал и стал быстро засыпать. Как вдруг показалось ему, что где-то поблизости сено зашуршало. Он прислушался. Нет, — тихо. Снова улегся поудобнее. Нет, кто-то здесь, совсем близко... Миша приподнялся. На фоне окошечка он ясно увидел силуэт Варвары.

— Варя, это ты?

— Тихо! Молчи, — прошептала она ему над самым ухом, — не хочу, чтобы те слыхали...

Новые, неиспытанные ощущения заполнили Мишу. Каждый вечер, с бьющимся сердцем, он ждал, придет ли Варя, и она приходила Днем девушка держала себя попрежнему любезно, но степенно, ни одним взглядом не выдавая их близости. Слегка подтрунивала на неопытностью Миши в работе, а когда нужна была мужская сила, обращалась к нему просто, без жеманства.

Так пролетела неделя — как во сне, как в чаду. Через несколько дней Миша опомнился и, по своему обыкновению, стал обдумывать все происшедшее. Его беспокоило, что, быть может, он испортил жизнь девушки. Припомнилась Катюша Маслова, из „Воскресения" Толстого, и прилив раскаяния овладел им.

Миша улучил минуту во время дневного отдыха, когда все спали, отозвал Варвару за скирды сена и виноватым голосом произнес:

— Варя, что это мы с тобою натворили!...

— А что?

— Да как тебе теперь плохо будет? Собственно, мне следует теперь на тебе жениться...

— Жениться? — и Варя весело расхохоталась: — Нет, я вам не жена, а вы, не в обиду будь вам сказано, в мужья мне не годитесь.

— Так как же будет теперь?

— А что?

— Трудно будет тебе замуж выйти.

— Чего трудно? Мамаша решили, вот как с сеном кончим, так сразу же выдадут меня, потому что некому под озими пахать.

— Да, но я боюсь, что теперь...

— А что? Кто знает? Вот такая, как Манька, — про нее все село знает. Ей придется в чужую деревню выходить. А ко мне вот и сейчас трое сватаются.

— Так ты что ж? Приглянулся тебе который из них? — спросил Миша не без чувства ревности.

— Приглянулся аль нет, только мы с маменькой решили, за кого.

— Кто такой?

— Из соседней деревни. Работал он в городе, деньги не пропил, а земли у него нет, так он к нам в примаки согласен. Мы его хорошо знаем — он всякую работу понимает: он тебе и хату поставит, да не такую, а по-городскому, и печь сложит, и столы, и скамьи, — все решительно — говорила Варвара не без гордости.

Миша задумался.

— А как узнает, что тогда будет?

— А что он мне сказать может? Моя воля, а главное — ему же никто в глаза сказать не может, — кто видел?... Ну, можа какой раз и набьет, — прибавила Варя и покраснела.

Парубки вышли из сарая. Время было становиться на работу. Дни стояли жаркие, быстро высушили сено и сложили.

Вернулись домой вечером, поздно. Варя ушла спать к матери, в клеть. В ту ночь Миша долго не мог ус-

нуть. Отъезд его был назначен на утро. Встал рано. Варя успела уже скот накормить и выгнать в поле.

Погода изменилась. Мелкий дождь моросил, как осенью. Стоял Миша с вещами на крыльце. Грустно, тяжело было уезжать. Вышла варина мать. Она трогательно благодарила его за помощь и пожелала счастливого пути. Подъехала Варя к крыльцу на телеге. Миша бросил вещи в кузов, сел. Молча ехали. Оба думали каждый свою думу.

На станции Варя привязала лошадь и понесла чемодан на платформу. Миша пошел к кассе. Больно сжималось его сердце при мысли, что вот сейчас он уедет от этой, такой близкой ему, девушки и, быть может, никогда больше с нею не встретится.

— Ну, езжайте с Богом, — сказала Варвара спокойным голосом, — а насчет того, что вы мне говорили, и не думайте. Никакой вины на себя не кладите. — сама я к вам пришла. Да и я каяться не буду. Понравились вы мне. Думаю — все равно, как выйду замуж, не будет моей воли.

— Варя, — сказал Миша растроганным голосом. Ему хотелось на прощание обнять ее, прижать к своей груди искренно и нежно.

Варвара уловила его порыв и сразу, холодным голосом, произнесла:

— А за то, что вы, барин, потрудились, помогли нам с маменькой, за то вам спасибочко. Трудно нам одним.

Подошел поезд. Миша пожал протянутую ему руку, вскочил в вагон. Его оттеснили. Потом вновь удалось протиснуться к дверям.

Варвара стояла на том же месте. Миша взглянул на нее, и столько тоски он прочел в ее глазах, что ему захотелось выпрыгнуть из поезда и что-то сделать, изменить... нето ее с собою взять, нето самому у нее остаться.

Поезд тронулся. Крупные слезы покатились из ва-

риных глаз. Она все еще стояла и смотрела вслед поезду, уносившему ее любовь, ее счастье, ее радость. Медленно побрела к лошадке и шагом, раскачиваясь на колеях, потащилась домой.

***

Через два года Миша получил работу в деревню недалеко от варвариной. В первое же воскресенье он пошел ее проведать.

Все произошло как раз так, как того ожидала Варвара: в следующее же воскресенье, после отъезда Миши, Варю повенчали. Муж ее оправдал все ее надежды. Дом поправил, сарай перекрыл, к дому пристроил просторную комнату с большим окном, крашеным полом и кафельной печкой. Кругом стола, вместо скамеек, стояли стулья. Все было хорошо, лучше, чем прежде, но Мише досадно было, ему эта новизна мешала, в ней было что-то чужое.

На дворе Мишу встретила Варвара. Она мало изменилась: то же спокойное, полное достоинства выражение лица, те же медленные движения; только немного пополнела и косы закрутила вокруг головы.

Мише она обрадовалась, приветливо пригласила в хату. Позвала мужа:

— Егор! Вот барин у нас живали в то лето, как батюшку придавило. Они оченно потрудились, нам с маменькой помогли.

Гостя усадили. Поставили на стол творог со сметаной, поджарили яичницу на сале. Хозяин достал из углового шкафчика бутылку, налил большую рюмку, и все пили по очереди, спокойно, каждый раз выражая добрые пожелания.

— А где ваши родители? — полюбопытствовал Миша.

— Маменька к обедне в село ушли, — ответила Варвара.

— А тесть, — продолжал Егор, — вот уже год, как приказал долго жить. Я его к дохтору возил в

больницу, только они не приняли, — говорят, все одно, помрет. Вот с этих слов он расстроился, стал такой беспокойный — не спал, не ел и через каких дней шесть помер.

— Мы и батюшку к нему привозили, причащался, — добавила Варвара.

В соседней комнате раздался крик ребенка. Варя быстро встала и вышла.

— Что это, ваш?

—Как же! Сынок. Вот уже год и три месяца.

„Год и три месяца, — мысленно повторил Миша: — Еще девять месяцев... Возможно!"...

Вскоре вернулась Варвара, держа на руках краснощекого бутуза. Варя успела принарядиться, ради гостя, и голову повязала очипком. Мальчик боязливо прижимался к матери.

— Не бойся, Мишутка, это барин добрый, он тебя не возьмет.

„Мишутка! — мелькнуло в голове Миши, — совпадение или"...

Он жадно всматривался в личико ребенка. Но трудно было что-либо уловить в детских чертах. Больше всего было сходства ребенка с матерью.

Егор вышел загнать коров. Миша с Варей остались наедине. Она стояла у окна, держа сынишку на руках. Лицо ее выражало довольство и покой. Внимание ее было сосредоточено на ребенке, и в этот момент она не уделяла его гостю. Вдруг Мише показалось, что он совершенно вычеркнут из жизни этой женщины, что она счастлива, довольна, и счастье это — вне его. Обида, ревность овладели им. Захотелось напомнить ей прошлое.

— Ах, хорошее времечко тогда было!..

— Да, — ответила Варя спокойно, — лето стояло хорошее, жаркое, только нам с маменькой трудно было.

Еще минута, и Миша бросил бы ей упрек, что за-

была, разлюбила его так быстро, но вошел Егор, взял ребенка на руки. Варвара пошла доить коров.

Беседа не клеилась. Миша дождался возращения Варвары, встал, стал прощаься. Варвара поблагодарила, что вспомнил, зашел, и прибавила:

— Али нужна будет лошадь, летом трудно достать, то с удовольствием дадим во всякое время.

Шел Миша домой, не торопясь, думал о Варваре, и казалось ему, что был бы он счастлив быть простым крестьянином и иметь Варвару своей женой.

ВЕЧЕРИНКА

Так тесно, как с Сашей, Миша в университете ни с кем не сошелся, но добрые товарищеские отношения у него были со многими студентами. В общем, к нему относились хорошо, но один студент, Лейкин, был положительно трогателен в своих отношениях к Мише: он, как нянька, за ним ходил, доставал ему пропущенные лекции, следил, чтобы Миша не забыл во-время приготовить зачеты, и во всех мелочах жизни вникал во все мишины нужды.

Вначале это даже стесняло Мишу, но скоро он привык к заботам Лейкина, и ему казалось, что „так и нужно". Лейкин расспрашивал Мишу с трогательным интересом, до мельчайших подробностей, об его жизни и семье.

— Уваров, — сказал однажды Лейкин, — вам нужно кое с кем познакомиться. Сегодня в одном месте соберется небольшое общество, я могу вас рекомендовать. Вы увидите, — там можно встретить интересных людей: мыслящее студенчество. Обыкновенно, собираются у одного учителя, Балалаева. Вот его адрес. Приходите к восьми часам. Захватите пару бутербродов — угощение в складчину.

Уварову не было никакой охоты тащиться куда-то на Васильевский остров, искать в темноте незнакомую квартиру. Но все же любопытно посмотреть, что это

за избранное общество „мыслящих студентов", и он решил пойти.

Звонка у дверей квартиры Балалаева не оказалось. Миша сперва постучался в дверь, потом попробовал ее открыть. Дверь была открыта. Миша вошел в небольшую переднюю. Тщетно искал он места, где мог бы повесить свое пальто: все вешалки были завалены шинелями и пальто. Миша свое пальто повесил на дверку вьюшки.

Из соседней комнаты доносились два голоса, — один удивительно приятный, низкий, старческий, другой — желчный, визгливый — кричал:

— Так что же, по-вашему, и негодяю тоже надо оказывать доверие?

— Да, и негодяю тоже...

— Пусть он ваше доверие обманывает и смеется над вами?

— Пусть обманывает, — добродушно произнес старческий голос, — но не забывайте: если вы оказали недоверие честному человеку, то обидели его, а может быть, и натолкнули его на мысль: „Стоит ли быть честным, дурака валять, все равно, люди не верят" А если вы доверили негодяю, и он оправдал ваше доверие, то вы этим дали миру честного человека.

Миша вошел. Из угла комнаты вынырнул Лейкин. Казалось, он поджидал Уварова. Он подвел Мишу к старику небольшого роста, в очках.

— Это хозяин квартиры, учитель Балалаев, — шепнул он Мише и обратился к хояину:

— Вот... позвольте... новый член нашего кружка. Уваров Михаил.

Старичок рассеянно протянул руку. Казалось, он продолжал думать о своем разговоре. На лице его была детская, радостная улыбка.

Лейкин повел Мишу в соседнюю комнату. Входя, он так же произнес:

— Вот, товарищи, новый член нашего кружка, Уваров Михаил.

Некоторые протянули Мише руку, другие не обратили на него внимания.

Полненькая белокурая курсистка, взявшая на себя роль хозяйки, с приветливой улыбкой подошла к Уварову.

— Демидова, — открекомендовала она себя, — вот и отлично. Поищите себе стул и присаживайтесь к столу. Сейчас самовар закипит.

Стол был раздвинут и почти упирался в стены небольшой комнаты. С одной стороны к нему придвинули большой, сильно потертый диван, и на нем уселся хозяин с каким-то особенно громоздким белокурым студентом.

— Этот большой — это Белкин, с Волги, — шепнул Лейкин, — из крестьян, сознательный, очень интересный человек.

Миша увидел свободное место рядом с хорошенькой курсисткой и поспешил его занять. Девушка оказалась бойкой, и они быстро разговорились.

— Вот совпадение! И я тоже из вашего городка, только выехали мы давно, я была еще совсем маленькой.

— Значит, вы моя землячка.

— Летом, когда поедете домой, мы сговоримся, поедем вметсе, я давно собираюсь к тетке, она все зовет черешен покушать.

Против Миши к стене был прибит большой лист темной бумаги, и на нем мелом написано:

„Сохраните надолго, на всю жизнь, в себе то светлое, чудное, чем богата и чем живет наша юность, в ее вечном стремлении к Правде, Добру и Красоте!"..

Притащили самовар, налили чай. В общем гуле нельзя было разобрать отдельных слов, да Миша особенно и не прислушивался, — он был весь поглощен веселым разговором с хорошенькой землячкой. Но вдруг раз-

дался сочный, низкий баритон, и все сразу замолчали. Пел Белкин, как звали его товарищи, — „Великан с Волги". Очень высокого роста, крупного сложения, с густой гривой белокурых кудрей, он везде в столице обращал на себя внимание и никак не мог слиться с чахлым населением Петербурга. И ему самому в столице было душно: рвалась душа на простор его матушки-Волги. Белкин пел:

Есть на Волге утес,
Весь он мохом порос,
От вершины до самого края.
На вершине его не растет ничего,
Только ветер свободный гуляет,
Да могучий орел
Там приют свой нашел
И добычу на нем он терзает...

Перед ним стояла принесенная им бутылка водки, он наливал себе в стакан и угощал хозяина. От водки Белкин не хмелел, только гуще становился его низкий голос. В звуках его голоса слышалась непреклонная, твердая воля, и создавалось настроение чего-то важного, почти священного, на что готовился певец в своей жизни и зовет на подвиг с собой и остальных.

Слушая его, все приумолкли и задумались. Он только успел оборвать последнюю ноту, как с другого конца стола, так же глубоко-прочувствованно и многозначительно, прозвучал тенор. Он запевал „Дубинушку".

Много песен слыхал я в родной стороне,
В них про горе и радость мне пели,
Но из всех лишь одна в память врезалась мне, —
Это — песня рабочей артели...
  Эх, дубинушка, ухнем!..
  Эх, зеленая, сама пойдет! —

подхватили хором присутствующие.

За „Дубинукой" последовал целый ряд песен. Ба-

ритон и тенор, в перекличку, запевали старинные студенческие песни.

Там, где тинный Булак со Казанкой-рекой,
Будто братец с сестрой, обнимаются...

Веселый хор подхватывал:

Через тумбу-тумбу раз,
Через тумбу-тумбу два,
Через тумбу-тумбу три
Спотыкаются...

Иногда хор не выдерживал и пел вместе с запевалами.

— Николай Васильевич, мне удалось достать это стихотворение, о котором мы с вами говорили, — звучным голосом, покрывая всех, сказала „Землячка" и протягнула Балалаеву бумажку.

Николай Васильевич бережно развернул ее и громко прочитал:

Лес рубят, молодой, еще зеленый лес...

Балалаев знал, что много юношей, под его влиянием, примкнули к революционному движению. Знал что многие из них поплатились не только свободой, но и жизнью в далеких тундрах Сибири. Эта мысль часто сокрушала старика и как бы лишала его права на устройство своей личной жизни. Он отказался от женитьбы и так, одиноким, коротал свой век, всегда готовый для революционной работы.

Лес рубят потому, что рано он шумел,
Что шумом пробуждал он вешние дубравы...

— Да, надо пробуждать, — сказал он, прочитав стихотворение.

Ему в ответ Белкин сурово произнес:

Но настанет пора, и проснется народ
И воспрянет, могучий, свободный!..

И слова молодым, стройным потоком полились русские песни:

Укажи мне такую обитель...

Общий дух протеста, молодого задора захватил и сидевшую возле Миши „Землячку". Решительным движением она встала, громко отодвинула стул и прислонилась к стене. Ее щеки пылали и глаза горели. Движением головы она откинула упрямую прядь волос, сбегавшую на лоб, и звучным, низким, грудным голосом прочитала:

Протестуй, пока ты молод,
Пока крепок голос твой,
Протестуй, пока есть в жилах
Капля крови молодой!..

‚Красивая девушка, — подумал Миша, — сколько в ней жизненного задора! Вот эта знает, что делает и куда стремится. Эта уж не спросит у „petite maman", за кого ей замуж выходить."

Оживление росло. В другом конме стола тоже появились бутылочки. Все пели, говорили, смеялись, чувствовали себя, как в тесной, дружной семье. Какой-то студент, в поношенной тужурке, с гитарой в руке, пел частушки и очень комично прищелкивал и подмигивал, чем вызывал взрывы хохота. Он не мог усидеть на месте, быстро двигаясь и приплясывая, подходил то к одному, то к другому.

Ректор сам того не знает,
Кто попался и куда, —
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда, —

пел он, и хор подхватывал:

Тула, Тула, Тула я,
Тула — родина моя!..
Эх, дербень-дербень, Калуга,
Дербень Ладога моя!..

Все чаще на столе появлялись бутылки, все больше подливали друг другу, но пили не допьяна, только росло шумное веселье, и песни потеряли первоначальный угрюмый характер.

Проведемте ж, друзья,
Эту ночь веселей!..

Два студента пропели в терцию, с присвистом и комической мимикой:

Как та зимушка-зима
Холодна больно была...

Все веселились, пили, ели, пели, смеялись от души, молодым весельем. Только два человека не принимали участия в общем веселье — Лейкин и Софья Львовна Меркина. Она давно уже кончила фельдшерские курсы и работала в больнице, но неизменно посещала студенческие вечеринки. Собственно, они оба и были устроителями этих собраний, они приглашали, по своему выбору, студентов и зорко следили за каждым из них, изредка обмениваясь друг с другом многозначительными взглядами.

Так, один студент, усердно распивавший бутылочку, вдруг стукнул по столу кулаком и вскрикнул: „Бей жидов, спасай Россию!" Сразу Меркина и Лейкин насторожились, как гончие на стойке. Студент рассмеялся, как бы своей шутке, но Лейкин и Меркина переглянулись и поняли друг друга.

Время пролетело за полночь, надо было расходиться. Традиционно, все встали и хором пропели „Вы жертвою пали" и „Марсельезу". Под впечатленьем „похоронного марша" и „Марсельезы", все расходились молча и задумчиво.

Но на улице, вдохнув свежего предутреннего воздуха, студенты снова оживились и весело болтали, смеясь и напевая, будя „бдительное око фараонов".

Миша пошел провожать „Землячку". Лейкин и Меркина вышли вместе.

— Ну, как? — спросил Лейкин, когда они остались одни.

Ну-у, ничего такого особенного.

— А что вы думаете насчет Уварова? — Знаете, это

человек сознательный, я с ним много беседовал. Он может работать.

— Уваров? Как вам сказать... так себе, вылощенный буржуйчик. Пока студент, в компании... Тогда уж, скажем, Белкин. Ну, да видно будет.

На следующее утро Лейкин стоял перед председателем ячейки.

Савченко, немолодой, очень близорукий, всегда неряшливо одетый, производил впечатление человека, всегда торопящегося и перегруженного работой. Он что-то писал и как будто забыл, что Лейкин стоит возле него.

— Так вы говорите — два новеньких? Ну и что?

— Вот Уваров, сын учителя, очень сознательно настроен. Отец пострадал от директора и губернатора. Семья в большой нужде. Может хорошо говорить. Другой — Белкин, мужик. Дядька имеет контору на Волге. Он учит племянника, чтобы иметь своего юриста при конторе. Белкин легко поддается пропаганде. Вообще, я нахожу его довольно подходящим.

Савченко сосредоточенно писал, как будто забыл обо всем разговоре.

— Эти два, — наконец, рассеянно произнес он, — так себе. Время покажет. Этот еще, что с Волги... А Уваров...

— Почему Уваров? Как раз я сказал бы — Уваров, а у того дядька кулак.

— Э!.. Это неважно, что дядька кулак. Мы дадим ему небольшую задачу, выдадим его немножко полиции. Из университета его выставят, дядька откажется, тогда он будет в наших руках*.) А этот как его...

---

*) Этот способ „прикрепления" молодежи к революционному движению практиковался и в старые времена. Пример мы находим в чрезвычайно интересной в историческом отношении книге В. Зензинова „Пережитое" (стр. 267). Он пишет: „И Нечаев, (Сергей Нечаев крупный революционер 1869 года) боясь, что из этого кружка не получится революционеров, написал на них анонимный донос в по-

Уваров? Вы говорите, он из бедной семьи? А на какие средства он учится?

— Стипендия и работа при институте.

— Ну, вот видите, значит, протекция. Кончит институт, получит тепленькое местечко, и революционный опыт ему пригодится для сыска. Нет, не знаю...

— А товарищ Меркина наоборот, — слукавил Лейкин.

— Что, одобрила? Ну, посмотрим.

НАДЕНЬКА

Корме окончания института, в тот год произошло еще одно важное событие в жизни Миши. В своем дневнике, куда он заносил только особо важные случаи, он записал так:

..Мне хочется передать, записать то, что я переживаю. Я ищу слова и не нахожу их. Так часто люди пытались передать словами, музыкой, красками то, что испытывает человек, когда он любит, но все же тот, кто не испытал этого чувства, не поймет ни поэта, ни композитора, ни художника. Вот и я, я знаю, что передать свои чувства словами я не смогу, но все же хочу записать, чтобы всю жизнь помнить, что был счастлив, вполне счастлив. Это не пьяное чувство влюбленного, нет. Я счастлив, что нашел ту девушку, которую искал всю жизнь и мог бы еще много лет, всю жизнь, искать и никогда не найти ее. Но я нашел... нашел! С этого момента, как мы встретили друг друга, мы слились в одно целое, всем своим сознанием слились, и можем только и жить, и думать, и чувствовать, как один человек, — не „я", а — „мы". Она мне близка, понятна в каждом своем слове, каждом движении, в каждом выражении лица. Я не ищу в ней ни ее молодос-

---

лицию — он надеялся „что пройдя арест, тюрьму, ссылку, молодые люди ожесточатся, получат нужный полический опыт и закал превратятся в революционеров."

ти, ни красоты, — она такая, какая должна быть, и все, что ей свойственно, составляет ее, и иначе она и не должна быть. Наденька! Милая, хорошая, без слов и в какое короткое время мы поняли друг друга!

Как сложится наша жизнь, — это покажет время, но одно ясно: вне тебя у меня жизни быть не может, а с тобой все невзгоды житейские теряют свою силу, а радость с тобою растет, заполняет душу. Наденька! Я счастлив тобою и благодарен судьбе, что нашел тебя".

* * *

Знойный летний день. Кузнечики трещат в траве, шмель жужжит среди цветов, мотыльки летают, кукушка кричит в далеком лесу, колосья ржи наливаются и тихий ветерок качает их, наклоняя к земле. А любопытные васильки вытягиваются, чтобы заглянуть сквозь колосья на небо и солнце, погреть свои синие головки.

Ожила земля земною радостию света, тепла и плодородия. Все ликует и красуется, радуется беззаботной радостью молодости.

Лето и молодость! Как скоро вы проходите, но как ярако вы светите человеку! Молодость своими лучами, как яркое солнце, освещает, согревает всю жизнь человека. Счастлив, кто пережил беззаботные дни, кто мог отдаться их чарам и забыться от скучных, долгих, серых будней . . -

* * *

Ожили леса и поля. То там, за озером, то вдруг тут, совсем близко, в саду, то в лесу, за садом, — раздаются молодые голоса, беззаботный смех, аукание, песни . . Миша и Наденька, как два мотылька, безаботно порхают в ярких лучах летнего солнца.

— А ты, Анна Павловна, не боишься так их пускать целыми днями бегать по полям и лесам?

— Нет, вот уж совсем не боюсь. Наша Наденька такая серьезная, благоразумная девушка, да и Миша исключительно . . .

Не кончила Анна Павловна своих слов, как, противореча им, с хохотом и визгом, вбежала на веранду Наденька. Ее догонял Миша.

— Мамочка! Ой, мамочка! Он мне гусеницу за шиворот бросить хочет!..

— Наденька! Это еще что за глупости! Посмотри, на кого ты похожа! Пойди, причеши волосы, сейчас обед подают. И веди себя потише...

Отец Наденьки, полковник Павлов, и жена его, — оба души не чаяли в своей дочурке. Беззаботное веселье, охватихшее девушку, радовало их, но все же, „для приличия", они находили нужным пожурить ее.

Вечером, сидя в саду, они слушали песни, доносившиеся с озера.

— Вот хорошо, что Наденька подучилась пению, очень развился ее голос, как звучит хорошо!

— Да, но и Миша очень талантливо вторит.

Близость озера напоминала Мише его детство, когда он с отцом ездил на рыбную ловлю, и много он рассказывал Наденьке о своих детских годах, об отце, матери, сестрах... Достал Миша у соседей удочку и пробовал удить. Только Наденька не могла долго высидеть на песке, — побежит или засмеется и сразу всю рыбу разгонит.

Однажды бегала она босыми ногами по песку, как сразу вскрикнула, присела и схватилась за ногу.

— Что такое?

— Стекло.

— И сильно? Покажи.

Разрез был небольшой, но глубокий. Миша связал платки и быстро стянул ногу, чтобы остановить сочившуюся кровь.

— Надо скорей домой — промыть и хорошо перевязать.

— Как же я пойду?

Нет, тебе нельзя ступать, я тебя понесу.

Миша легко поднял девушку и, шутя и смеясь, понес ее домой. Он с нежностью прижмал к груди ее молодое, упругое тело. Голова его касалась ее груди. Он зарывал лицо в кружевах ее платья и чувствовал, как кружится его голова. Наконец, он опустился на краю дороги. Страсть затемняла его рассудок. Горячими поцелуями он покрыл ее лицо, плечи, шею.

— Миша, ты с ума сошел!..

— Да, сошел... сошел

Наденька слабо защищалась, закрывая ему лицо руками.

— Наденька, скажи, — а ведь хорошо, правда, хорошо?

— Да, — сказала она просто.

— Наденька, а когда это мы поженимся?

— А ты что, хочешь поскорее?

— Конечно, скорее. Завтра, сегодня, сейчас.

Ну, да... Так скоро. сам знаешь

— Да, а если ждать, пока я воинскую повинность отбуду, а там службу искать... Да и зачем нам так долго ждать?

— Не знаю, как мама и папа..

— Пойдем, поговорим.

— Пойдем.

Миша поднялся, взял Наденьку на руки и, спокойно беседуя о предстоящем разговоре с родителями, пошел дальше к дому.

Когда нога была перевязана, Наденька начала разговор, не откладывая:

— Мамочка, почему нам надо так долго откладывать нашу свадьбу?

— Как почему? Сама знаешь — и Мише надо на службу и тебе приданое.

— Ах, мамочка, приданое, все сразу, совсем не нужно. Служба тоже не важно. А я хочу скорее замуж выходить.

— Наденька, стыдись, что ты за глупости говоришь!

— Нет, мамочко, не глупости, я не хочу так долго ждать.

— Миша, мы же еще вчера говорили, — поедешь на военную службу.

— Да, мамочка (он привык надиных родителей звать мама и папа), грустно, тоскливо подумать мне ехать одному.

— Да, но ведь хотели мы, чтобы Наденька еще на курсы...

— Нет, мамочка, — перебила ее дочь, — я думаю, что важнее курсов, — это наша жизнь. Мы ведь не такие уж дети: мне двадцать, Мише двадцать пять. Если мы будем долго тянуть, наши лучшие годы пройдут в разлуке. Зачем их терять? Мамочка, милая... — и Наденька близко-близко подсела к матери и ласкала головой материнское плечо. И так умоляюще заглядывала в глаза Анны Павловны, что, казалось, мать теряет свою основную позицию.

— Это так сразу решать не следует, — вмешался отец, — вот приедет Костя, подумаем, потолкуем.

Наденька прислушалась к голосу оца. „Сдают", — шепнула она Мише на ухо, и оба радостно рассмеялись.

Костя, брат Наденьки, приехал из Петербурга, где служил в одном из гвардейских полков, на две недели в отпуск. Он сразу стал на сторону молодой пары.

Да чего там тянуть! Обвенчаем их хоть завтра, сказал он весело, и весело все рассмеялись.

Свадьбу решили устроить в следующее воскресенье, пока Костя еще' здесь. Приезд Кости и предстоящая свадьба внесли еще большее оживление в доме Павловых. Старики только ахали, и Анна Павловна жалобным голосом тщетно взывала к их благоразумию.

— Да успокойтесь же вы! Костя, ты — старший, будь немножко солиднее. Шалите, как малые ребята...

— Хорошо, хорошо, мамочка, мы будем шалить не

как малые ребята, а „благоразумно" и „солидно" только ты нас не оставь „без сладкого".



Однажды Наденька вбежала на балкон, оттуда в дом, в сад, опять в дом.

— Мамочка, ты не видела, где Миша?

— Миша? Я видела, он пошел в поле, по березовой дороге.

„Миша пошел в поле... — бежали мысли у девушки, — пошел один, без меня, ничего не сказал"

Наденька бегом побежала через сад на березовую дорогу. Мысли ее беспокойно летели и путались: почему он пошел и ее не позвал? Когда она вдали увидела Мишу, он ей тоже показался странным. В нем чувствовалась озабоченность.

— Миша, где ты был?

— В поле.

— А почему меня не позвал?

— Так, мне хотелось подумать... Наденька, я давно хочу с тобой поговорить, но я не знаю, как ты отнесешься, поймешь ли ты...

— Но в чем же дело? — Наденька озабоченно всматривалась в мишино лицо. — Ну, говори!

— Наденька, я хотел тебе сказать... Быть может, ты и во.обще все твои... Конечно, твой отец и мама, они совсем другого уклада, но ты, постарайся ты меня понять...

Наденька опустилась на траву краю дороги и вся обратилась в стремление уловить мучившую Мишу мысль.

— Наденька, — вдруг сразу решился Миша, — я принадлежу к революционной организации. Я в ней состою уже давно, с первого курса института, работаю в ней. Я деятельный член. Ты должна это знать.

Миша замолчал. Молчала и Наденька, повидимому, пораженная его словами. Миша заметил ее смущение.

Лицо его побледнело, брови сдвинулись в упрямую линию, он чуть прищурил глаза, как он это делал в минуты какого-либо упорного решения.

— И из организации я не выйду. Я в ней останусь — это мое решение.

Тон, которым Миша сказал эти последние слова, обидел Наденьку и она ничего на них не могла ответить. Наступившее молчание становилось тяжелым.

— Почему ты так говоришь? — наконец, сказала она сдавленным голосом, — ведь я же тебе не сказала...

— Ты не говоришь, но я чувствую, что тебе моя точка зрения чужа.

— Миша, — наконец, произнесла Наденька твердым, решительным голосом. Она совсем справилась с собою, отбросила пробежавшее чувство обиды. — Миша, я привыкла тебя во всем понимать и потому и в этом вопросе постараюсь. Да, ты прав, для меня „революционная организация", — эти слова, звучат как-то странно, чуждо моей жизни, всего уклада нашей семьи. Ты это и сам понимаешь. Но я так мало знакома... Я не имела случая до сих пор... Я представляла себе революционеров, как людей... как тебе сказать... ну, одним словом, плохих, вредных и, конечно, я относилась к ним даже враждебно. Но теперь я должна перестроить все! Если ты, такой мне близкий, любимый, такой понятный, хороший, если ты — революционер, то, быть может, я вообще ошибалась. Быть может, революционеры совсем уж не такие плохие люди.

— Нет, — перебил ее Миша с жаром, — поверь мне, Наденька, я хорошо их знаю. Это не просто хорошие, это — святые люди! Я знал среди них людей, которые пожертвовали своим благополучием, карьерой, личным счастьем, даже жизнью, — всем жертвовали ради идеи...

— Наденька, — вдруг произнес он шопотом, — думала ли ты когда-нибудь, что Христос тоже был ре-

волюционером? Он тоже шел против существовавшего лживого религиозного строя, ради справедливости, истины. Наденька, пойми, что если когда-нибудь и будет польза от деятельности революционных организаций, то не для тех, кто в них сейчас работает. Это бескорыстные идеалисты, верующие, что их жертвы не напрасны.

— Да, но скажи, с чем они, собственно, борются? Что им надо?

— Они ищут справедливости, они борются за право угнетенного, маленького, забитого человека. Они борются против угнетающего мир капитализма, против эксплоатации безысходно зажатого рабочего класса. Они хотят дать всем возможность иметь и свое маленькое счастье. Посмотри, Наденька, в какой нищете, темноте живет наш народ! Никто не заботится... наоборот, его нарочно держат в темноте и пьянстве, чтобы легче эксплоатировать его. Подумай, какая колоссальная разница в России между рабочим классом и интеллигенцией!..

— А что можно сделать?

— Надо работать. Надо входить в среду этих рабочих людей, надо открывать им глаза, организовывать их и силой заставить властей улучшить условия их жизни.

Миша замолчал. Взгляд его устремился вдаль, казалось, он видит перед собою всю несправедливость, весь гнет давящий рабочий класс, и чувствует их борьбу и победу.

— Миша, я никогда не думала раньше об этом, но я чувствую, что ты прав, ты не ошибаешься, — жизнь рабочих и крестьян нелегкая. Но как помочь им — не знаю.

— Сразу помочь нельзя. Пройдут года упорной работы и борьбы. Я верю, что удастся, — постепенно, шаг за шагом, — отвоевывать для народа лучшие условия.

— Надя, Миша, где вы? Ужин на столе! — раздался из сада голос Анны Павловны.

— Сейчас, сейчас, мамочка! — отозвалась Наденька, но сразу не встала.

— Миша, — сказала она, подумав, — я не могу тебе сказать так сразу, прав ли ты во всем. То-есть, ты прав, что надо им помочь, но как? Об этом не буду говорить — я не знаю. Мне одно ясно: для тебя это свято, именно свято, исходит из твоих самых лучших побуждений. За это я могу тебя только еще выше ценить, еще больше любить.

Разговор этот не внес ничего нового в отношения Наденьки и Миши. Так же молодо, весело проходили их радостные дни, — в лучах солнца, в просторе полей, в тени лесов, на озере, в саду, в задумчивых тенях лунных ночей. Приближался день свадьбы.

— Костя, папа просил тебя зайти к нему в кабинет, сказала Анна Павловна своему сыну. И лицо и голос ее выражали заботу.

— Получены газеты, — сказал Павлов входящему сыну, — мне кажется, мы накануне войны.

— Нет, папа, когда я выезжал из Петербурга, я виделся с Михаилом Федоровичем. Он сказал определенно, что войны не будет. Мы к войне не готовы, и Государь сказал, что он войны не хочет и не допустит. Да и мне не дали бы отпуска.

Однако, судя по последним газетам...

Прошли еще два дня. Костя получил телеграмму — немедленно вернуться в полк. В тот же день, вечером, — срочное сообщение о начале военных действий.

Сразу все стихло в доме Павловых, ни смеха, ни шуток. Свадьба, назначенная на воскресенье, отложена на неопределеное время. Миша и Костя на следующий день выезжают в Петербург.

У всех была одна мысль, одна забота: Россия в опасности. Каждодневные заботы, хлопоты, личные интересы, — все как-то померкло. Одна общая мысль,

общий интерес, поднимающий все силы человеческой души, энергии, деятельности, — спасение Родины. Для нее ни перед какой жертвою человек не останавливался, для спасения ее шли на фронт, терпели все трудности войны, жертвовали жизнью.

**
*

Перед отъездом Миша и Костя вошли в комнату Павлова. Обоих он благословил, как сыновей. Анна Павловна принесла маленькие образочки, перекрестила обоих и повесила их им на шею, со словами: „Господи, спаси и сохрани от всяких бед!..“

Молча ехали на станцию. Усадили в поезд. Грустной улыбкой провожала Анна Павловна уходящий поезд. Наденька стояла, как окаменелая. Но когда поезд скрылся, обе женщины упали друг другу в объятия и громко разрыдались. Полковник старался не показать своего волнения.

— Полноте, голубушки! Бог милостив. Полно плакать — не надолго...

„Не надолго!“ — так говорили и думали все — „Современная война не может продолжаться дольше одного месяца. Будем мужественны. Один месяц, а там — что Бог даст!..“

„Будем мужественны, терпеливы и там, далеко, на фронте, в окопах, в грязи, холоде, голоде, под бурей ураганного огня, в беспорядочном отступлении, в несогласованности отдельных частей. Будем терпеливы вдалеке от родных и дома, в болезнях, ранах. Будем терпеливы и мужественны в тылу, в одиночестве, в опустелых домах, в ожидании писем от мужей, сынов и близких, дорогих людей.“

И люди терпели, не теряя мужества. Терпели и ждали, не видя скорого конца, не чувствуя исхода.

Ждали и Павловы известий с фронта от сыновей, как они называли Костю и Мишу, лихорадочно следя по газетам о ходе военных событий.

Затихла Наденька. Постарели, осунулись старики.

ЧАСТЬ II

Широки и далеки вы, степи русские! Нет вам конца, — куда ни взглянешь, нет предела вам. Сравнить вас можно только с бесконечным небом, а вместить, отразить может только такая же широкая русская душа. Раскинуты степи на десятки десятков верст, а по степи змейкой тянется и вьется черная узкая ленточка. По ленте той бегают, пыхтя и свистя, паровозы, за ними тянутся разноцветные вагоны, и все то кажется издали детской игрушечкой, по сравнению со всем простором степи.

Нет на земле ни горушки, ни выбоинки, — гладь, что скатерть на столе. В ясные дни посмотришь вдаль, и видно, как подходит поезд к соседней станции, ко второй, к третьей, — только дымок показался! Станции, небольшие, городов в степи не так уж много.

Вот у одной такой маленькой станции, в самом сердце русских степей, приютился небольшой поселок. Домики обросли вишнями да сиренью, что только крыши соломенные видно, а среди них, нелепо и одиноко, как бы стыдясь своей наготы, высится двухэтажное здание школы. В ней помещается лазарет Красной Армии.

Молодой врач-хирург, два фельдшера и четыре сестры бессменно, самоотверженно работают в нем. Красные отступали, фронт приближался, и каждый день привозили все новых и новых больных и раненых, совершенно не считаясь с тем, что лазарет был уже настолько переполнен, что больные лежали на полу, даже в коридоре.

Официальных сведений или газет не было, но больные приносили тревожные известия: белые делали сильный нажим в центр и обходили фланг, угрожая отрезать линию железной дороги.

Однажды к станции подошел поезд в составе пяти товарных вагонов. Из них вышла группа военных, под командой очень молодого краскома, и направилась к лазарету. Краском спросил доктора и вручил ему следующую записку:

„Прыказываю увереный вам гошпиталь снять, погрузить у вагоны и отправить куды я прыказал. Спешно весьма. Который ежели слаб — прыстрелить".

Внизу красовалась печать и неразборчивая подпись.

Быстро, с помощью прибывшего отряда, лазарет был погружен в вагоны. Слабые так молили о жизни, что и их втащили в вагоны. Вопрос стоял только о трех больных, лежавших без сознания: старик, раненный в живот и голову; подобранный где-то на улице помкомвзвода Хрущев, с шрапнельными рваными ранами, и молодой комполка Уваров, раненный в голову и руку. Доктор предполагал, что старик и Хрущев умрут, не приходя в сознание, а Уваров, быть может, и выздоровеет, — его привезли накануне, и доктор не успел ознакомиться с его ранениями.

Согласно с приказом, краском вынул револьвер и выстрелил в старика в упор. Затем он подошел к Уварову и поднял руку для выстрела, но в это мгновение одна из сестер, молодая, белокурая Оля, вдруг заслонила собою больного и умоляюще произнесла:

— Не надо, не убивайте его, пусть живет!..

— А что с ним делать? Нести, все одно, нет времени.

— Нет, не надо! — умоляла сестра, — не надо убивать!..

— Да что вы, Оля, глупости говорите! Мы же не можем его здесь оставить так, одного. Вы же с ним не остонетесь, — вмешался доктор.

— Да, да, останусь! — вдруг сразу решила девушка, — я остаюсь.

— Да вы с ума сошли! Что вы говорите, подумайте. Да и в лазарете вы нужны, я не могу вас оставить. Не задерживайте.

— Я не задерживаю. Поезжайте

— Товарищи, времени нет для разговоров. Сестра, вы едете или остаетесь с больными?

— Остаюсь.

— Так идем, товарищи.

Доктор сделал попытку силой увести сестру, но она ухватилась обеими руками за кровать Уварова.

Да даете ли вы себе отчет, чем вы рискуете? Остаетесь одна во враждебном лагере.

Со станции доносились тревожные свистки локомотива.

— Игнатий Андреевич, — произнесла сестра сухо, — вы задерживаете поезд и рискуете. Я не уеду.

— Ну, и чорт с вами, если сами на рожон лезете...

Он быстро сбежал с лестницы, бегом добежал до станции и вскочил в вагон. Поезд тронулся, и полная тишина охватила станцию и школу, где был лазарет. Оля подошла к изголовью Уварова, отбросила прядь волос, свисавших ему на лоб, поправила одеяло, подтянула скамеечку к его кровати и долгим взглядом всматривалась в черты его миловидного лица.

— Миленький! Такого красивого убить... Нет, не дам я тебя убивать... Доктор сказал, что поправишься. И умереть тебе я тоже не дам. Будешь жить.

Сестра все ниже наклонялась к изголовью больного, и, наконец, усталось одолела ее, и она уснула, сидя на скамеечке, уткнув голову в подушку Уварова.

Разбудил ее какой-то страшный, безумный удар. Сестра вскочила на ноги и спросонья не могла понять, где она и что происходит. Молния ярко осветила комнату, и новый страшны удар грома потряс все здание. Сильный порыв ветра ворвался сквозь разбитое стекло окна и распахнул его. С большим трудом девушке удалось закрыть ставню у разбитого окна. Еще несколько сильных ударов грома, и гроза стала удаляться.

Оля снова подошла к кровати Уварова, села на скамеечку. Хотелось спать, но где устроиться? Тут мельк-

нула у нее мысль снять с кровати убитого старичка и лечь на его место. Она подошла к нему. Удалявшаяся гроза сверкала молниями, и при их свете Оля ясно увидела лицо покойника. Предсмертная судорога осклабила его рот в жуткую улыбку, а открытые глаза смотрели на девушку в упор. В ужасе, Оля отшатнулась и убежала, но ей казалось, что старик гонится за нею, протягивая свои окаменелые руки, чтобы схватить и задушить ее. В смертельном страхе, зарыла она голову в подушку Уварова и замерла, ожидая прикосновения холодных рук покойника. Так прошли мгновения, показавшиеся ей долгими.

Вдруг ей ясно послышались чьи-то легкие шаги. Оля еще глубже зарыла голову в подушку, закрыла уши руками и еле дышала от ужаса, но все же ясно слышала, что шаги приближаются. Кто-то, еле касаясь пола, подошел к ней и толкнул ее в колено. Сердце остановилось у бедной девушки, дыхание сперло в груди. Ей казалось, что она теряет сознание. Она ясно чувствовала чье-то дыхание на себе. Но никто ее не хватал, не душил, не делал ей никакого вреда. Любопытство взяло верх над чувством страха, и она осторожно приподняла голову.

Небо на востоке светлело, и в комнате можно было различать предметы. У ее колен, смотря на нее своими умными глазами, стоял лазаретный пес Жук. Он обрадовался, что девушка подняла голову, приветливо завизжал и положил ей лапу на колени, весело виляя хвостом.

Как близкому, милому другу, обрадовалась Оля собаке. Она обняла его косматую голову.

Жук! Милый песик, это ты! Остались мы с тобой сторожить больных... Ах, ты мой Жучик дорогой!

Присутствие собаки и близость рассвета придали Оле мужество. Первое, что она осознала, — это чувство голода. Пошла в кухню, в поисках съестного. В кладовке валялись куски черствого хлеба и соленые огур-

цы. Пока Оля обыскивала кладовую, Жук отыскал что-то в кухонном ведре и со вкусом чавкал, хрустя косточками. В кухне нашлись мешки из-под картошки. Оля их вытрясла, постлала на полу и, обнявшись с Жуком, греясь его теплой, лохматой шкурой, заснула крепким молодым сном.

Проснулась она поздно. Солнце стояло высоко. Девушка умылась, привела в порядок волосы и пошла к больным. Хрущов попрежнему дышал тяжело и стонал в бессознании, а Уваров лежал такой же бледный, неподвижный. Тут девушка вспомнила, что больные уже сутки, как не получали пищи. В кухне, на столе, стояла банка с кислым молоком. Сестра обрадовалась находке. Нашла обломок деревянной ложки и подошла к Уварову.

Перевязка закрывала верхнюю часть головы, но рот был открыт, обнажая молодые белые зубы. Осторожно, почти каплями, вливала она ему в рот молоко, которое он бессознательно проглатывал со слюной.

— Кушай, миленький, кушай! Вот еще немножко. Вот так. Хорошо, — говорили сестра, будто кормя ребенка.

Чашка была почти пуста, как Оле послышались голоса на улице. Она побежала к окну и увидела поезд и людей на станции.

„Белые!” — мелькнуло в голове сестры. Тут впервые ей ясно представилась опасность, о которой говорил доктор, убеждая девушку не оставаться.

Первым ее движением было проверить документы Уварова. Свидетельство, выданное еще в царской армии, на имя поручника Михаила Уварова, она оставила в кармане его френча. В боковом кармане она обнаружила два письма, написанные мелким женским почерком, и фотографию молодой, красивой девушки. Как ни торопилась Оля, все же немогла удержаться, чтобы не прочитать на обратной стороне: „Моему Мишутке от Нади”.

— Врешь, — прошептала Оля, — не твой он теперь, а мой. Ты, небось, сидишь дома да бегаешь к фотографу. Ты с ним тут не осталась... Нет, мой он, а не твой, никому не отдам!..

Фотографию и письма она положила обратно, в карман френча, потом побежала в кухню и сожгла все бумаги, выданные Уварову в Красной Армии. Вернулась она в зал и только хотела посмотреть письма, как услышала голоса на лестнице.

Забыла Оля в этот момент, как она спорила со стариком-фельшером, доказывая ему, что Бога не существует, и, по своей старой, детской привычке, быстро перекрестилась и прошептала:

— Господи! Спаси и сохрани!.

Капитан, входивший в коридор у залы, увидел в открытую дверь девушку, стоявшую у кровати больного, и уловил ее движение. Кто знает! Быть может, именно этот крест и спас ее от многих бед, так как капитан сразу почувствовал к сестре симпатию и взял ее под свое покровительство. Он вошел в зал и ласково спросил:

— Что, сестрица, никак вы одна остались с больными?

— Да, — ответила Оля тихо.

— Здесь был лазарет?

— Здесь.

— Много больных?

— Не знаю, их каждый день подвозили.

— Давно снялись?

— Вчера вечером.

— А что же вас одну оставили?

— Я сама захотела.

— А провизии оставили?

— Нет, все увезли.

— Вот мерзавцы! Как же они вас так оставили, да еще с больными?

— Нет, они не хотели, доктор не разрешал, я сама, в последний момент!.. — возразила Оля с жаром.

— Ну, ладно, ладно. А кто эты больные?

—Я их не знаю, — соврала Оля, — они не приходили в сознание. Тот мертвый. Этот, Хрущов, ранен в легкие, а это — Уваров.

— Уваров? — переспрсил капитан. — Уваров? Это же из дворян. Как он сюда попал?

— Не знаю, — слукавила Оля, — подобрали его в лесу, а кто он, не знаю.

— Где его документы?

Капитан взглянул на полковое свидетельство, скользнул глазами по фотографии.

— Ну, ладно. Ваших больных пусть снесут в отдельную комнату, а лазарет... я пришлю людей почистить. а вас, сестричка, — добавил он ласково, — попрошу присмотреть, чтобы полы вымыли почище. Пока раздобудем кровати, придется первое время больных класть на пол.

Пришли люди. Мертвого старика унесли и схоронили в саду. Уварова, вместе с кроватью, перенесли в небольшую комнату в коридоре, а когда подошли к Хрущову и тронули его кровать, он пошевелился, и кровь, наполнявшая легкие, хлынула через горло. С нечеловеческим ревом, он захлебывался, кашлял, глотал и выплевывал струю крови.

Сознание вернулось к нему. Он оглянулся, понял все происшедшее и, когда Оля хотела помочь ему, он, сколько у него было силы, толкнул ее, со словами:

— К чорту, шлюха проклятая, осталась валяться с офицерами!

Слезы покатились из глаз Оли от незаслуженной обиды. Подошли люди, чтобы перенести Хрущова, но и на них он заревел хриплым голосом свои ругательства.

Позови-ка Егор Иваныча, — сказал распоряжавшийся молодой солдат.

— Ты чего это здесь скандалишь? — обратился капитан к Хрущову, — я советую тебе потише.

В этот момент Хрущов вытащил из-под подушки револьвер и направил его на капитана. Движение его заметил солдат, стоявший у кровати, и быстыр ударом выбил револьвер из рук Хрущова. Капитан побледнел, медленно поднял револьвер и в упор выстрелил в Хрущова.

К вечеру прибыл лазарет, и началась для Оли жизнь по-старому. Так же работала она без устали, днем — перерабатывая, ночью не высыпаясь. Так же беззаветно отдавала она все свои силы, и душу, и сердце уходу за больными. Красные ли, белые ли, — те же бедные, страдающие, умирающие русские люди.

Но вечером один часок был для нее радостным, — когда она, после тяжелого рабочего дня, приходила в свою комнату, где лежал больной Уваров. Сознание к Уварову вернулось скоро. Это было ночью.

— Где я? — спросил он.

Оля проснулась.

— Ты в лазарете, миленький, ты ранен в голову и руку. Доктора говорят, что ты поправишься и будешь здоров.

— А почему у меня глаза завязаны?

— Ничего, не беспокойся. Все будет хорошо.

— А кто вы?

— Я сестра Оля.

— А где сейчас белые?

— А вам говорить-то доктор не позволяет. Потом все расскажу.

С этого дня Уваров стал попровляться. Повязку с глаз пока не снимали, он не мог видеть Олю, но чувствовал ее заботу, ее тепло, ее так ярко выраженную женственную натуру, полную материнской ласки и заботы. Он привык к ней и так же, как Оля, ждал вечера, когда они будут болтать весело и беззаботно.

— Скажи, Оленька, ты черненькая?

— А вот и не отгадал! Я рыженькая.

— Рыженькая А глаза какие?

— Глаза? Так, обыкновенные, серые, только один слегка того... Как брат смеется: один на нас, а другой в Арзамас.

— Косые?

— Ну, нет! Не то, чтобы косые, а так, слегка...

— А нос?

— Что нос? И нос такой... средний. И вся я такая средняя, самая обыкновенная.

— А мне, все-таки, кажется, что ты хорошенькая.

Так, шутя и беседуя, незаметно проходил их часок. В комнату, где жили Уваров и Оленька, поместили еще одного больного — капитана Рыжкова, с раздробленной коленной чашкой. Ранение было тяжелое, мучительное, и он, не переставая, стонал, а подчас и кричал, не находя ни места, ни покоя своей больной ноге. Как он ни противился, все же пришлось ампутировать его ногу до колена. Это его очень огорчило, но боли сразу уменьшились, и после операции он проспал весь день беспросыпно. Ночью он проснулся и, заметив, что Уваров не спит, окликнул его:

— Товарищ Уваров, вы не спите?

Слово „товарищ" в белом лагере прозвучало так чуждо, непривычно, что Уваров встрепенулся.

— Почему вы называете меня товарищем?

— Потому, что знаю вас — вы были помощником командира энского полка. Помните, вы захватили в березовой роще белую разведку из семи человек? Вы же сами нас тогда допрашивали и, признаюсь, очень гуманно. А посты ваши охраняли нас очень небрежно, и мы все удрали. Вообще, хаос у вас изрядный!..

Так что ж, вы теперь меня выдадите? — спросил Уваров с горькой усмешкой.

Рыжиков ответил не сразу.

— Нет, я могу и не выдавать вас, но дайте мне слово, что в Красную Армию вы не вернетесь.

Уваров молчал.

— Ну, что? Трудно согласиться? А признаться, смотрю я на вас и удивляюсь: что может быть у вас общего с этой хулиганской сворой?

— А я, в свою очередь, не понимаю, как можно защищать власть, отжившую, потерявшую доверие и авторитет, показавшую свое полное бессилие.

— Как вам сказать! Если вы думаете, что мы боремся за восстановление монархии, вы ошибаетесь. Мы ничего не хотим предрешать. Пусть этот вопрос решит сам народ, на учредительном собрании. И вообще, как там будет, я не знаю. Одно мне ясно — я хочу русскую власть. Я не хочу, чтобы мною командовал хам или еврей.

— Вы не любите евреев, и большинство их не любит, а все же согласитесь, это талантливая нация. умный народ, чуткий. С евреем ненужно долго говорить — он схватывает вашу мысль с полслова.

— Это так. Они гибкие, умные бестии, но, согласитесь, их ум, их таланты и все прочие достоинства не пойдут нам на пользу. Да, да... я знаю, все знаю. что вы хотите сказать в их пользу, но я не хочу их власти в России. Понимаете, — не хочу! Пусть это будет моя глупость или национальная гордость, но мне легче поклониться русскому дураку, чем их гению.

— Но ведь процент евреев в России так незначителен, а главное, основвная теория...

— Это вы о марксизме? Ну, знаете ли, хороша теория! Нечего сказать: полная опека над личностью.. Не хочу я жить чужим умом, чужой волей, под чужую дудку плясать!..

— Но если весь уклад жизни вам понравится, вы же сами согласитесь...

— Это в советский рай? Нет, голубчик, покорно благодарю! Пока в том раю созреют яблочки, нам придется служить удобрением. Да и вопрос еще, какие яблочки созреют в том раю. Не знаю, может ли нор-

мальный человек наслаждаться жизнью в раю, при сознании, что для его счастия потребовалось сгубить несколько поколений, замучить, обезличить миллионы людей. Если — да, то такой человек — нравственный кретин.

Рыжков не мог говорить спокойно, его голос звучал по всему коридору. Вошел дежурный фельдшер.

— Что это у вас тут за споры? Нельзя, нельзя! Больным не полагается волноваться, — и он попробовал пульс Рыжкова. — Да еще после операции...

На следующий день Уваров снова заговорил с Рыжковым.

— Вот вы так судите... вчера вы говорили   А если бы вы поинтересовались поближе

— Голубчик мой! Напрасно вы думаете. Было время, был я подпоручиком, бегал я в картузике по ячейкам. Все это нам давно знакомо, и, слава Богу, никаких иллюзий мы себе не строим.

— Все же согласитесь, господин капитан, условия, в которых работает крестьянин...

— Да, я согласен, земельная реформа должна быть сделана. Вы мне о земле и мужицкой жизни не говорите, — я сам мужик. Отец был малоземельный, дядька, столяр, взял меня в город. Кончил я городское училище, попал в пехотное училище. То, что я не пашу земли, — это случай, но душа моя всеми поколениями привязана к земле. Вы, горожане, вы не понимаете этого чувства! Вы приезжаете в деревню на дачу, погреться на солнышке, послушать кукушку, в озере покупаться. Но жизнь ваша и все интересы — там, в городе, а не на земле. Вы ничего ей не даете: не поднимаете пара, не поливаете ее своим потом, не кладете в нее своей силушки. Вы не рождаетесь, как мы, каждой весной, с первыми лучами солнца. Мы производим, вместе с землей, все, что она родит, составляем с ней одно целое, нераздельное... С нею рождаемся, оживаем и с нею засыпаем, замираем на зиму, чтобы воскреснуть...

— Вы любите землю... — начал Уваров.

Рыжков перебил его:

— Люблю? Это звучит мелко, пошло. Я — кусок, комок земли. Тело мое оторвалось от нее, но душа моя осталась там, в далеком хуторке, на черноземных полях. И не найду я покоя и радости, не увижу смысла жизни, пока не надену домотканную рубаху и не пойду за плугом, погоняя Сивку.

— Позвольте, перебил его Уваров, — но ведь интересы крестьянина вам должны быть близки. Разве вы не видели, как помещики, в союзе с правительством, эксплоатировали мужика, держали его в нищете, темноте, за гроши скупали продукты?

— А вы что думаете, — марксизм дает лучшие условия? Лучшая жизнь мужику нужна, но только... Уваров, не поддавайтесь обману и не вводите других в заблуждение. То, что марксисты отберут земли у помещиков, — это вы мужику говорите, а то, что вообще вся земля будет национализирована, принадлежать государству, — об этом вы помалкиваете. Не знает крестьянин, что не только им ни пяди земли не прибавят, но и их собственную, дедовскую, землю отнимут и из хозяина, свободного человека, превратят в батрака — раба.

— Отобрать землю у мужика и дать ему работу на казенной, это то же, что у матери отобрать ее собственного ребенка и сделать нянькой в казенном приюте. И то, няньки и к чужим детям привыкают, а батрак только считает рабочие часы, а земля его мало интересует.

— Не свободу вы несете народу, а такую неволю, какой он еще и не видывал. Жаль мне народа! — сказал капитан после некоторого молчания.

— Жаль мне народа, — сказал и Уваров, задумчиво отвечая на какую-то свою собственную мысль.

Беседа их часто носила характер спора, но никогда не переходила в ссору. Они чувствовали, что оба искрен-

но сочувствуют и сострадают тяжелому положению своего родного народа и готовы принести многие жертвы, чтобы помочь ему. Оба видели перед собою одну и ту же цель, но шли к ней разными дорогами. Оба верили в свою правоту. Судьба заставила этих двух людей провести наедине долгие дни и ночи, и единственным развлечением была их беседа. В беседах этих они хорошо поняли друг друга и хотя не соглашались, все же не теряли уважения. Это чувство легло в основу их отношений, постепенно перешедших в дружбу.

Уваров все еще лежал с повязкой на глазах, как случай заставил его ее сбросить.

В числе больных был один полковник, Венгеров. Он жаловался на боли в голове. Возможно, что жалобы его были несколько преувеличены, так как это не мешало ему целыми днями бродить по лазарету и вмешиваться во всю его жизнь. С первых же дней он стал приставать к Оле с любовными уверениями и, наконец, однажды ночью пробрался в комнату, где она спала, сел на ее кровать и приоткрыл одеяло, любуясь ее молодым телом. Оля проснулась. Завязалась молчаливая борьба, но, чувствуя его превосходство в силе, Оля закричала, зовя на помощь. Уваров сдернул повязку с глаз, вскочил на ноги, схватил лежавший на полу Олин сапог и со всей силы ударил полковника по голове. Оля вырвалась и побежала за дежурным фельдшером. Венгеров, видя, что он попал в невыгодное положение, принялся кричать на весь госпиталь. Прибежали сестры и фельдшер.

— Помогите! — кричал Венгеров, — эти большевики хотели меня убить.

Его словам большого значения не придали, но со следующего же дня он стал ходить по всему лазарету и восстанавливать больных против Уварова и Оли, уверяя всех, что красные их оставили в качестве шпионов.

Несколько дней спустя, к Уварову пришел капитан, заведующий госпиталем.

— Ну, как вы себя чувствуете, поручник Уваров? Хорошо? Вот и великолепно. А где, собственно, ваша часть? Не думаете ли вы вернуться на фронт?

Нет, — ответил Уваров спокойно, — я не принадлежу к Белой Армии. Я пробирался с фронта на родину, в Киевскую губернию...

Капитан вспомнил, что видел в кармане Уварова фотографию молодой девушки.

— Да, — сказал он, — я понимаю, что тянет вас домой, но все же в данный момент В последних боях такая убыль, людей нехватает на фронте. Домой еще не время.

Уваров молчал. Капитан взглянув ему прямо в лицо. Несколько мгновений они смотрели друг другу прямо в глаза. Капитан отвернулся и вышел, не подав Уварову руки.

— Миша, сказала Оля по уходе капитана, — нам надо бежать. Мне не так, а тебе опасно. Он приходил неспроста, говорят всякое...

— Да, надо бежать, но — как?

— Медлить нельзя. Сегодня ночью я дежурю. Дежурний фельдшер — старик, с ним легко справиться. Я сейчас к нему сбегаю, а ты тем часом приготовься.

— Дяденька, — сказала Оля, входя в дежурную, а я тебе сегодня бутылочку спирта отлила, стоит на полке, за банками.

— Ах ты, радость моя! Молодец, доченька, — и поспешил в перевязочную.

Оля побежала по зданию. Вторая дежурная сестра уснула.

— Ну, скорее, чтобы поспеть к поезду!..

Оделись. Вещи связали в узел. Иван Степанович, как звали капитана, тоскливо наблюдал, как собирались его друзья.

— Берите и меня с собою. Что мне здесь одному оставаться . . .

Оля быстро взглянула на Мишу, затем на капитана, опять на Мишу.

— Возьмем, что ли?

— Все одно. Пуст.

Тихо в лазарете, уснули больные, только тяжелые где-то стонут. В коридоре нет никого. Первым вышел Иван Степанович, на своих костылях. Осторожно скользнули Миша с Олей. Никто их не видел. Поезд пыхтел на станции. К поезду подошли с обратной стороны С трудом погрузили Ивана Степановича и только успели сами вскочить, поезд тронулся.

Вагон был переполнен. Все же втиснулись в коридор и даже удалось вздремнуть, сидя на вещах. Проснулись они от какой-то беготни и шума. Кондуктор будил всех, говоря, что поезд дальше не пойдет.

Вышли все трое на платформу, переглянулись и невольно засмеялись, радуясь и чистому воздуху, и солнцу, и своей молодости. И даже совершенная неопределенность их положения их не смущала.

— Ну, а теперь?

— А что? Поищем кипятку, чайку.

— А потом пойдем искать „местожительство”, — добавил Иван Степанович.

Оленька не забыла на дорогу сделать запас провизии. Покушали, узнали, где здесь поблизости есть деревенька, куда и направились. Все радовало путников, — и ясное небо, и теплое солнце, и колосистая зрелая рожь. Оленька напевала свои деревенские песенки, нарвала васильков, сплела и надела на голову синий веночек.

Из-за высокой ржи показались соломенные крыши, и они вошли в небольшую деревеньку. Белые мазанки тонули в вишневых садах, кругом плетней высились, качая желтыми головами, подсолнухи, из-за крыш виднелись высокие журавли колодцев. Они вошли в первую же хату. Дверь была не затворена, но на их оклик никто

не ответил. Они вошли. На глиняном полу сидел мальчик, лет трех. Возле него стояла плошка с молоком и хлебом. Мухи облепили его лицо и руки, мокрые от молока. Ребенок внимательно осмотрел входящих.

— А где мамка? — спросила Оля.

Мальчик молчал. Печь была не топлена, в ведрах воды не оказалось.

— Да что это, будто никто и не живет здесь!

От соседей узнали, что отец Трошки, так звали ребенка, убит на войне, а мать забрали с лошадью проходившие через деревню войска, да вот уж два месяца ни слуху, ни духу.

— Трошку не берем к себе, у нас тесно в хате, а девочка, Леска, приходит на ночь его качать.

Решили Миша с Олей остаться жить в трошкиной хате. Степаныч поселился у одинокой старухи, неподалеку. Он смастерил себе деревянную ногу, притянул ее ремнем, быстро научился пользоваться ею и с радостью принялся помогать старушке в ее хозяйстве.

Оленьке были знакомы деревенские работы, да и Миша быстро освоился. Жили они своим уютным гнездышком. Трошка к Оленьке привык, ни на шаг не отходил от нее, звал ее мамой, а Мишу папой. У соседей нашлась трошкина корова. Понемногу привели в порядок и дом, и двор, и огород. Убрали рожь, овес созревал.

День за днем проходил быстро, и не задумывались они о завтрашнем дне, не строили себе никаких планов на будущее.

Однажды Степаныч чинил борону в саду, под яблоней. Прибежала к нему Оленька, бросилась к нему на шею и залилась горькими слезами.

— Что, что такое случилось, что? Болит что? Скажи, чего плачешь?

— Дяденька, не любит он меня! Не любит... Я думала, он ту барышню забыл, я его френч с фотографией запрятала, а он сегодня нашел, одел. Я пошла

в рощу за коровой — гляжу: лежит он в траве, а перед ним та карточка... Он, смотрит на нее. Дяденька! он меня не любит, он бросит меня... — и она снава залилась слезами.

— Да полно тебе. Ну, что там такого? Нашел карточку, посмотрел. Ну, важность какая. А ты и места себе не находишь. Полно плакать-то.

— Нет, — вдруг встрепенулась Оля, подняла лицо от груди Степаныча: — Нет, пусть та барышня не думает!.. Не отдам я его никому. Мой он, никому не отдам!

— Да полно молоть! Нет ни той барышни, ни другой, и не думает он от тебя никуда...

— Дяденька, — перебила его Оля задумчиво, — знаешь, а ведь я второй месяц, как тяжелая....

— Вот как? Ну, а Миша что?

— Не знает, не хочу ему говорить. Пусть делает, как хочет. Не хочу его неволить.

— А ты что? Как думаешь, женится он на тебе?

— Не знаю, никогда мы с ним об этом не говорили. Да что я ему за жена? Сам знаешь — он барин, ему какая барышня подходит, а что я?..

Оля задумалась. Долгим взглядом посмотрел Степаныч на нее и начал медленно, с расстановкой:

— Это ты правильно сказала, что вы — не пара. Вот что я тебе скажу: выходи ты замуж за меня. Мы — дело другое, оба мы от земли. Поженимся, поедем ко мне на хутор. Отец стар, ему трудно одному. Будем жить на земле. А уж как я тебя любить буду!.. Приглянулась ты мне еще там, в лазарете. Ради тебя я и пошел с вами. Думаю, рано ли, поздно ли, а с Мишей вы разойдетесь... А что ребенок, — это не помеха. Ты ему вовсе про то и не говори, а жалеть я его буду, как своего. Как думаешь, Оленька?..

Оля сидела на траве, рядом со Степанычем. Одной рукой обняла его за шею, устремив взгляд куда-то вдаль, нето вглядываясь во что-то нето прислушиваясь

к чему-то внутри себя. Все, что говорил ей Степаныч, ее не удивило: давно она угадала его чувство к себе и слушала его слова, как старую сказку. Вдруг встрепенулась она вся, громко рассмеялась.

— А и с чего это я! Глупая я! Ведь ничего не случилось. Может, и любит он меня, а я... Да никак он идет! Ой, Божечка ты мой. У меня ничего не сготовлено...

Оленька вскочила на ноги и бегом побежала в свою хату.

Степаныч посмотрел ей вслед и спокойно принялся чинить свою борону.

И вновь побежали дни тихие, ясные, озаренные украинским солнцем, как внезапно три события совершенно изменили всю колею их жизни. Первое событие — был проход отряда белых войск через их деревню; затем — возвращение трошкиной мамы и третье грустное событие — смерть Оленьки.

Случилось это так. Однажды услышали какой-то странный шум, крик, призывы на помощь. Миша выскочил на улицу. Он знал, что в деревню вошел небольшой отряд белых и расположился в другом конце деревни. Прислушавшись, Миша понял, что звал на помощь живший в деревне еврей Иосиль. Миша вскочил в хату, схватил револьвер, но в дверях его остановила Оля.

— Брось, ни к чему! Что ты этим поможешь? Ну, убьешь двоих, а третий тебя, вот и все. Лучше так попробуй — уговорить.

Миша с минуту колебался, потом бросил револьвер на кровать и пошел спокойным шагом к корчме Иосиля. Он подошел к группе военных, которые, смеясь и кричали: „Бей жидов, спасай Россию!"

— А за що, панове, бєте жидовину? Чи щось затаїв, чи щось зробив?

Они засмеялись несколько деланным смехом.

— Ех, панове, не робіть дурниць! Ви йому краще прикажіть, хай пошукає, горілки, щоб промочити горло. О це буде діло!..

Иосиль почувствовал защиту, сразу ободрился.

— Вот, паницки, вы у него спросите или плохой Иосиль был, или он музыцкам не помогал, или обманул кого? Поверце, паницки, Иосиль цесный еврей. Дай Бог мне с места не сойти, езели я вру!..

Мысль раздобыть от еврея водки понравилась.

— Неси, жид, горилку!

— Ой, паницки, коли бы вы знали! Исли тута красные, каб вони уси подохли, — все цысто обобрали, дазе бутылоцки не покинули...

— Врешь, сукин сын, неси водку! Подкинь, Ванька, ему горячих.

Ой, паницки, не треба, не треба, не русци, я посукаю, моза, якая бутилоцка и знайдитца...

Еврей полез в погреб, достал несколько бутылок водки и соленых огурцов. Нашлась еще водка в обозе, достали хлеба, пили стаканами и быстро пьянели. Двое офицеров свалились и уснули. Какой-то толстый полковник стал над ними в комической позе и пропел хриплым голосом:„Спите, орлы боевые"... закашлялся, выругался трехэтажной бранью и допил свой стакан. Все кричали, пили, пели, ругались. Казалось, об Иосиле совершенно забыли.

Миша удивлялся, что еврей не пользуется возможностью и не убегает. Вдруг среди общего шума, покрывая его, раздался крик ребенка. Все сразу умолкли и прислушались к новому звуку. Пьяный полковник, цинично подмигивая и еле держась на ногах, прохрипел:

— Младенец! А где его маменька?

Паницки, ей Богу, это моей доцки сыноцик...

— Где дочка?

— Вмерла. Ей Богу, вмерла! Я сам годую внука. Ей Богу!.

Но испуг выдавал его. Бросились на поиски, но ни в доме, ни во дворе ее не оказалось. Вдруг раздался дикий рев,-рев зверей, которым бросили мясо. Несколько человек спустились в погреб за огурцами и случайно обнаружили молодую мать, притаившуюся за бочками.

После непродолжительной свалки в подвале, несчастную тащили за ноги по лестнице. Казалось, она была в глубоком обмороке. Свалка из погреба перешла на верх. Люди дрались, кричали, ругались, более сильные отбрасывали слабых. Какой-то молодой офицер, с лицом, напоминавшим вывеску парикмахера, слабым тенорком силился перекричать толпу.

— Господа! Это несправедливо! Так нельзя, надо установить порядок, очередь. Я протестую!..

Миша стоял у стола в оцепении, чувствуя свое бессилие. Иосиль забился в угол, где висело его платье, присел к полу на корточки, бился головой о стенку и выкрикивал какие-то слова: нето молитвы, нето проклятия. Какой-то увалистый парень с казацким хохлом громким голосом как-то цыкнул на толпу:

— Ребята! брось марацца с жидовкой, пойдем по хаточкам, пошукаем девчаточек!..

Миша выпрыгнул в окно и садами, напрямки, побежал к своей хате.

— Беги, Оля, через рощу в лес, — идут сюда.

Оля сразу сообразила все положение. Схватила Трошку, снесла к старушке-соседке и бегом, по меже через рощу, убежала в лес. Миша закрыл хату на замок и тоже последовал за нею. Скоро подошел и Степаныч. Они с Мишей стяли у опушки леса, устремив свой взгляд на деревню, откуда доносились хохот, крики, ругань, вопли и выстрелы. Оба молчали. Нервная судорога сводила лицо Миши, ему было тяжело его вынужденное бездействие.

— Вот они, твои белые герои, — наконец. процедил он сквозь зубы.

— Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, что красные лучше? Эх, что там говорить! Все мы, миленький, одним миром мазаны. Твои красные — тоже не лучше будут.

— Варвары, — желчно выговорил Миша.

— Так, так... Ругай! Мы — русские, мы — варвары, азиаты, пьяницы, воры, разбойники, — ругай себя. Плюй себе в лицо. Это уж всегдашняя повадка русского интеллигента. Вот те, заграничные, Европа, — те сами себя хвалят, не налюбуются на себя. „Мы все права на вашу землю имеем, потому что мы — европейцы. А вы — азиаты, вас всех через Урал. Оставим только, сколько нужно, чтоб а вас пахать. Мы несем вам культуру, цивилизацию"... А эти самые культуртрегеры — что делают? Не насилуют? — Степаныч все больше и больше волновался.

— Да в том-то и есть их убожество, их темнота, что он, сукин сын, награбит, да еще как — до последней луковицы в доме вычистит, сложит награбленное в чужие мешки, свяжет аккуратно, приделает ярлык с адресом и отправит „нах фатерлянд". И думает, что он прав. А впрочем, он и думать, не станет. Русский человек думает, задает себе вопросы, мучится, знает что не прав был, когда грабил. А тот сделает то же, хуже сделает и не сознает своего преступления, а хвалится, превозносит себя, других унижает. Это и есть его темнота, мелочь души... Если человек сознает свою вину, — есть надежда на исправление, а те... те — безнадежные!

Степаныч замолчал. Он не мог стоять спокойно, как Уваров, которого досада, злоба приковали к месту.

— Нет, ты, Миша, скажи, скажи, — разве не так? Разве русский человек, если и награбит, может так хладнокровно „нах фатерлянд" отослать? Он тут же пропьет, отдаст кому, вон выкинет Если и набуйствует спьяна, то, как проспится, совестно будет вспоминать. Те, заграничные, не видят своего падения и

потому никогда не выйдут из него. Самомнение их затмевает.

— О чем это вы так спорите? — спросила, походя, Оленька. — Я думаю, надо что принести подостлать и накрыться.

Так и заночевали в лесу все трое, под одним одеялом. Только Миша долго не мог уснуть: все думалось ему, что бездействие преступно, довольно он отдыхал — надо за работу браться.

***

Второе событие, возвращение трошкиной матери, произошло так. Однажды под вечер заметили, что у ворот стоит конь с телегой. Подошли. В телеге оказалась женщина. На расспросы она отвечала, что это ее хата, ее двор, а Трошка ее сынок. Сама она убежала с фронта и по дороге заболела. Несколько дней уж не ела. Встать сама не может, а конь привез ее домой.

— Трошка, подойди к мамке! Али забыл? Не бойся!...

Мальчик жадно всматривался в лицо матери, силясь что-то вспомнить, и боязливо прижимался к Оленьке. Василиса, как звали женщину, оказалась больной сыпняком, что и было причиной олиной смерти. Увидя больного человека, Оля сразу вошла в свою обычную роль сестры: сняла с нее ее грязную одежду, уложила в чистую кровать, ухаживала за ней день и ночь, пока сама не свалилась в горячке.

Миша объездил верхом все окрестности, ища доктора, но напрасно, — все врачи были забраны на фронт. В местечке нашлась аптека, лекарств в ней не оказалось, все же кое-что ему посоветовали и дали.

Беда была в том, что у Оли сердце оказалось слабое, и в три дня ее не стало. Умерла она вечером. Весь день она металась и бредила. Степаныч и Миша не отходили от ее кровати: то клали холодную воду на сердце, то на голову, то давали пить, то лекарства. К вечеру она успокоилась.

— Может быть, жар уменьшится, — сказал Миша с надеждой.

Степаныч отрезал ломоть хлеба и вышел на крыльцо. Миша не отходил от олиной кровати. Ему казалось, что она уснула. Но вдруг он стал замечать страшную бледность ее лица. Он схватил ее руку и не мог найти пульса. В ужасе, он выбежал, зовя Степаныча:

— Пойди скорей! Посмотри, что с ней? Дышет ли она? я не понимаю.

Степаныч внимательно, напряженно искал признаков жизни.

— Умерла! — сказал он, наконец, сдавленным голосом.

— Что же это такое? Что же тепер делать? Степаныч, надо растирать, чтобы сердце снова... Или горячим...

— Нет, попробуем искусственное дыхание.

,Миша метался, ища помощи и выхода. Наконец, в отчаянии, обнял обеими руками тело Оленьки и громко разрыдался.

Василиса достала у соседей доски. Сколотили гроб, вырыли могилу на деревенском кладбище, опустили в нее гроб, зарыли землей. Степаныч всем распоряжался спокойно, деловито, без слез и жалоб, а Миша не находил себе ни места, ни покоя. Пустота, окутавшая его со смертью Оли, давила его.

Степанычу удалось отыскать священника. Батюшка прочел молитвы на олиной могилке и сочувственно пожал руку Степанычу, принимая его за олиного мужа.

Так кончилась жизнь сестры Оли, одной из многих-многих русских девушек, беззаветно отдавших себя на служение несчастных русских людей, бездомных, изнуренных, больных, страдающих.

Казалось, что со смертью Оли жизнь в деревушке потеряла свой смсл, свою душу.

Я решил ехать на родину, — сказал Миша Степанычу, — а ты как?

— Да и я тоже попробую к себе пробраться.

Миша равнодушно, как все, что он делал, в это время пожал руку Степаныча и вышел из хаты, держа в руке узелок с бельем и хлебом. Но пройдя немного, в нем зашевелилось прежнее теплое, сердечное чувство, он вернулся, подошел к Степанычу и обнял его.

— Прости меня! Я сам не свой... Все во мне как будто вымерло. Будь здоров, а вспомнишь когда, напиши. Ты знаешь мой город.

С хорошим, дружеским чувством они расстались, и Мише стало легче на душе, как будто какой-то уголок в ней оттаял.

ЧАСТЬ III

К своему родному городу Уваров подъехал рано утром. С бьющимся сердцем выскочил он на платформу. Та же маленькая станция те же домики вокруг, тот же фонарь, мешавший пассажирам вскакивать в вагон, те же часы. Какое-то чувство умиления охватило Мишу, как будто погружая его в давно прожитые годы.

Он быстро пробежал по платформе, вбежал в здание станции, потом вышел на платформу. Фыркая и тормозя вагоны, на станцию входил товарный поезд. Вышел дежурный начальник. С первого же взгляда, Миша узнал его: маленький, в большой красной шапке, с оттопыренными ушами, — точно такой же, как и в старое время. Уваров улыбнулся. Ему вспомнилось, как они, дети, звали его мухомором. С этим словом волна детских воспоминаний нахлынула на него. Он подбежал к начальнику, протянул ему руку.

— А вы еще здесь! Как это хорошо, у вас тут ничего не изменилось. А я вот уж четыре года из дома. Был на фронте, а теперь пробираюсь на родину.

— Да, да... конечно очень приятно.

— Вы меня не узнаете? Уваров, сын учителя. Помните, старичок с бородкой, всегда любил на рыбную ловлю ездить?

— Я очень извиняюсь, поезд подходит, — проговорил начальник, отдал по-военному под козырек и поспешил к поезду.

Уваров еще раз прошел через станцию и вышел на улицу. Он шел по направлению к дому Павловых, надеясь что-либо узнать о них от соседей. Улицы, дома, сады, — все было таким знакомым, и это было радостно. Но мысль, что с каждым шагом он приближается к дому Павлович, что, быть может, скоро, сейчас, он увидит ее, Наденьку, — эта мысль сжимала

его грудь, и слезы набегали на глаза. Вот и их улица. Женщина идет с пустыми ведрами за водой. „Нехорошо", — подумал Уваров.

— Здравствуйте! Вы на этой улице живете?

— На этой, а что?

— Знаете Павловых?

— Это полковника-то? Знаю, соседи.

— А вы не знаете, как они

— Дочка в деревне, учительницей, мамаша с ней живет. Сын работает на фабрике, отец стар, все болеет.

— А дочка как, не вышла замуж?

— Не слыхать. Говорили, был у нее жених, — на фронт уехал, не вернулся. Да какие теперь замужества! Сами знаете, какая жисть. Вот уж год, как у нас большевики хозяйничают...

— Ну, так что ж?

— Как что? Да вы, наверно, нездешний? Поживете — увидите. — Женщина сразу замолчала, боязливо покосилась на Уварова.

— Да мне что? Мне все одно — я человек рабочий, — и она быстро пошла к колодцу.

Уваров подошел к дому Павловых. Казалось, в доме еще спали. Он облокотился на низкий забор, окружавший их сад, и задумался. А как теперь примут его? Конечно, семья Павловых сочувствовать большевизму не может. Скрывать от них, что он в партии и активист, он не хочет, даже если бы пришлось отказаться от Наденьки. Из разговора с женщиной он понял, что большевики не сумели расположить к себе местное население. Но теперь все пойдет по-ному! Он энергично возьмется за дело и заставит граждан изменить свое отношение к большевизму. Наденьки здесь нет, а с Костей и полковником они встретятся несколько позже, когда все изменится, и коммунизм заслужит доверие.

Так бежали его мысли. Он шел вдоль еще пустынных улиц. Потянуло его взглянуть на свое старое гнездышко, где жил он под родительским крылом. Он знал,

что мать умерла, сестры повыходили замуж и уехали, и в их домике жили чужие люди.

И здесь ничего не изменилось: тот же покосившийся забор, та же калитка. Эта калитка! Сколько раз он пробегал через нее и бросал ее, а она скрипела. И захотелось ему услыхать этот знакомый звук. Он открыл калитку, вошел в сад и быстрым движеньем захлопнул ее за собою. Послышался протяжный, такой родной и потому милый, звук. „Вот — моя яблоня, а это — зинина. Вот райские яблочки, — вот бы сейчас скушать!" Захотелось ему войти в дом, но было рано, и в доме, повидному, спали. Он прислонился к толстому клену у крыльца. Этот дом, крыльцо, деревья, — все это свидетели его детства, юности, остатки их разоренного гнездышка. Они казались ему одушевленными, среди них он не чувствовал себя таким одиноким... Он закрыл глаза и некоторое время погрузился в ощущения, связанные с воспоминаниями детства. Потом медленным шагом побрел вдоль улиц, по направлению к областному комитету партии.

На пороге обкома стоял молодой человек небольшого роста, одетый с ног до головы во все новенькое: кожаная тужурка, кожаная фуражка, галифе, хорошо сшитые сапоги. Перед ним стоял красноармеец.

Заметив Уварова, молодой человек повысил голос, щеголяя своей властью:

— А где была твоя информация?

Я же вам говорил, что полк по частным квартирам размещать не годится, — оправдывался подавленным голосом красноармеец.

— Что ты говорил, — это совсем не важно, — бросил краском и обратился к Уварову:

— Вы в обком?

— Мне нужна Демидова.

— На что вам Демидова?

— У меня к ней дело.

— Какое?

— Товарищ Тинский, кто меня спрашивает? — послышался приятный, низкий голос из окна обкома. — Заходите!

— Здравствуйте, — сказал Уваров, входя в небольшую комнату, — я командирован к вам. Был на фронте, а теперь буду работать в тылу.

— А откуда вы приехали?

— Из горной страны.

— Как?

— Попутным ветром.

— Каким?

— Северо-южным.

С каждым паролем лицо Демидовой делалось все более радостным. Все три пароля знали только старые, заслуженные партийные работники.

— Ну, и отлично! — совсем весело проговорила Демидова, пожав его руку, — очень рада. Работы много. и некому доверить. Да садись же!

Она безнадежно оглянулась, ища свободного стула, наконецъ, сбросила ворохъ бумагъ, лежавшихъ на стуле, на пол. Уваров взял стул из ее рук и сел.

— Знаешь, никак не можем наладить нормальную работу. С одной стороны, недоверие и даже враждебное отношение населения, с другой стороны, и нами были допущены ошибки. А главное — в нашей же среде такие несогласия! Вот, поживешь — увидишь. Трудно работать. Очень, очень рада, что тебя прислали. Теперь я не буду одна, будем вместе работать... А как у тебя с комнатой?

— Нет. Я прямо со станции.

— Ну, хорошо, я устрою, пойдем сейчас ко мне.

— А как у вас с продовольствием?

— Здесь, при обкоме, получишь на неделю вперед. Да и одежда тебе тоже нужна. Тинский, выпиши Уварову всю экипировку.

— Как, и сапоги тоже?

— И сапоги.

— Что, у него сапог нет?

— Новые оденет, старые в починку отдаст.

Слышно было, как за стеной Тинский проворчал что-то неодобрительное.

— Я побегу вперед, а ты приходы. Впрочем, ты же не знаешь, где я живу.

— Скажи, я найду, я город знаю.

— На Кривой улице, третий дом.

— Это у старой попадьи?

— А ты ее знаешь?

— Как же не знать! Сколько мы у нее груш натаскали! С забора на грушу Ах, вкусные были!..

— Отлично. Значит, найдешь.

Быстро бежала Демидова. Встреча с Уваровым придала ей новую энергию. Быстрыми движениями прибрала она комнату, стерла пыль, открыла окно. Поправила волосы и одела свежую блузку. Когда Уваров пришел, на столе пыхтел самовар, на тарелках красовалась незатейливая закуска. Демидова, совсем в праздничном настроении, встретила его словами:

Все устроилось, как нельзя лучше. Хозяйка сама предложила мне перебраться в столовую, на диван, а эту комнату ты можешь себе взять.

Уваров запротестовал:

— Нет, зачем же я буду тебя из твоей комнаты выживать, стеснять?

— Нисколько. Домой я прихожу только спать, и мне решительно все равно, где, — тут ли, там ли. А нам надо держаться вместе. Знаешь, их тут много, работников, но все же ты и я — это не они. Ты увидишь. Вообще, очень трудно работать. Например, партийный стаж я имею самый большой и потому возглавляю всю местную организацию. Но это только на бумаге, а в действительнсти... Представь себе: Чрезвычайная комиссия находит нужным следить за мною и вообще... ЧеКа имеет собственный ход в центр, помимо меня. Они чувствуют себя независимыми. Какое-то двоевлас-

тие. Даже до того: мне намекают, что если им во мне что-нибудь не понравится... А я им на это возразила, что от старых времен имею много друзей, которые поважней их и меня хорощо знают, и их рекомендация мне не нужна. Ведь мы же с Ильичом всю тайгу исколесили...

— Вот это здорово! Что ж, пришлось им хвостики поджать?

— Ну, как тебе сказать. Не особенно они испугались. Знаешь, странное у меня ощущение. Мне кажется, что помимо нас, старых работников, откудова-то растет и крепнет какая-то новая сила. Какие ее цели? Согласны ли с нашими, или нет? Мне кажется, что эта сила проникает в партию, порабощает ее и диктует свою волю. Сила эта везде вносит предательство и доносы, держит всех под страхом террора. Ты не представляешь себе, как люди боятся дуг друга и никому не верят...

Слушал Уваров Демидову и чувствовал, как тяжело становится ему на душе. Как будто с каждым словом становилось меньше воздуха, будто тяжелые цепи спутывали его руки, и радость, с которой он ехал для работы, меркла.

— Эх, товарищ, — сказал он, — не думал я, что такое положение создалось в тылу. В этом отношении, много легче на фронте: задачи ясные, простые, имеешь чувство удовлетворения, если удалось исполнить их. А здесь все так сложно...

— Да, и подумай, как тяжело мне одной. Из старых работников, кто еще независимо себя держит по отношению к ЧеКа, — это Железнов. Ты увидишь его сегодня на заседании. Светлая личность. Он служит нашей связью с Киевом... Да! я тебе еще не рассказала. Сейчас у нас полный переполох, ужасное несчастье. Шестой советский полк, распропагандированный местными мещанами, устроил еврейский погром. Это так ужасно!.. Целые кварталы разгромлены, масса жертв.

Конечно, это была наша непростительная ошибка. Надо было предвидеть. Шестой полк, очень заслуженный, выполнивший тяжелые задачи. Его прислали на отдых в тыл. Мы хотели их подкормить и распределили по частным домам. А здесь, знаешь, конкуренция — русский квартал кожевников и еврейский. Вот мещане и натравили полк против евреев. Ужасно!.. Сегодня будет по этому поводу заседание, пойдем.

На заседание присланы были из Киева Железнов и Кругловский. Демидова познакомила их с Уваровым.

— Ну, вот и отлично! Бери его, Демидова, себе в помощники. Вдвоем легче будет.

Железнов отвел Уварова в сторону, расспрашивал о настроениях на фронте, о новостях в центре, рассказывал о положении в тылу. Много общих знакомых оказалось. Говорили они, будто давно знали друг друга. Но Демидова нарушила их беседу, призывая начать собрание. Вошли женщина и двое мужчин.

— Товарищ Уваров, вот это представители нашей ЧеКа, — сказал Железнов, — т. Майкина, т. Вейш и т. Нильский.

Майкина сощурила близорукие глаза и очень пристально осмотрела Уварова. Взгляд этот был ему неприятен. Кругловский подошел к Уварову.

— Мне сказала Демидова, что ты здешний. Это чрезвычайно ценно. Знаешь, вы, хохлы, вы народ со своей психологией и нас, кацапов не очень-то жалуете. Нам не войти в вашу душу, ну а тебе будет проще. Вот мы тебя командируем по деревням, организуй широкую пропаганду.

— Об этом я как раз и сам думал. Присылайте мне из Киева задачи, а я с радостью. У меня по деревням большое знакомство, приятелей много есть. Конечно...

— Уваров не договорил своих слов, как его перебил веселый, радостный оклик:

— Мишка! Дружище! Ты ли это?... — перед ним

стоял его школьный товарищ, Левка Гуревич. — Давно ли ?

— Да вот сегодня, утром.

Демидова снова обратилась с просьбою начать.

— Подожди ! — отмахивался от нее Гуревич, — это же Мишка Уваров. Мы с ним пять лет на одной скамейке шпаргалками питались...

— Да успеете еще... Товарищи, садитесь, приступим...

Первым выступил Тинский. Он держал в руках длинный доклад и какие-то списки.

— Я полагаю, — начал Тинский, — что такие явления недопустимы и к людям, принимавшим участие в погроме, должна быть применена высшая мера наказания. Наказание — примерное для всех. Этот шестой полк должен быть ликвидирован, расстрелян, потому

Он не успел кончить своей мысли, как Железнов быстрым движением обернулся к нему, окинул его таким взглядом, от которого Тинский побледнел, как полотно.

— Так по-твоему, значит, полк расстрелять — это пустяк, шутка ? На фронте людей нет, нам присылают боевой, заслуженный полк с фронта на отдых, а мы, по твоей милости, его ликвидируем, так ?

— Я полагаю...

— Свое мнение оставь при себе, мы с ним вообще не намерены считаться. Тебе поручили охрану и слежку в городе. Где твоя разведка ? Где твоя информация ?

— Да ведь я...

— Молчать ! — вскрикнул Железнов, хлопнув по столу кулаком, — молчать ! Ты виновен и больше никто. Полк расстрелять !.. Слыхали ? Тебя, сукин сын, расстрелять ! Таких работников не надо.

— Товарищ Железнов, — совсем растерянно пытался защитить себя Тинский.

— Довольно, — сказал Железнов более спокойно. — Товарищи, приступим к обсуждению создавшегося положения.

— Товарищи! — начала крикливым голосом Майкина, — самое главное, надо сейчас устроить приют для этих несчастных детей.

— Ну, уж это мелочи, об этом позаботится т. Демидова. А вот главное — как быть с полком?

В конце заседания постановили полк раскассировать и распределить отдельными группами по полкам и охранным отрядам, а мещан, у которых стояли красноармейцы, ликвидировать, а также их жен, как вредный элемент в городе. Детей поместить в приюты.

***

С Демидовой Уваров скоро подружился. Это была сильная, по своей натуре, девушка. Происходила она из богатой купеческой семьи. Очень молодой собиралась выходить замуж за блестящего гвардейского офицера, любила его и верила его чувству. Но когда отец не захотел выделить дочери, тот поспорил с будущим тестем и совсем отказался от женитьбы. Этот разрыв чрезвычайно глубоко пережила молодая девушка: потеряла радость жизни и замкнулась. Через несколько лет она уехала в Петербург, на Бестужевские курсы. Там втянулась в революционную деятельность.

— Обыкновенно, мы собирались по очереди, то у одного, то у другого, но чаще всего у одного старенького учителя Балалаева.

— Балалаева? Да у него и я тоже был...

Демидова вспомнила, что видела Уварова. Она разливала чай, а он сидел с красивой черноглазой девушкой.

— Да, это была моя землячка. А ты знаешь, что с ней? Это была такая революционерка.

— Как же, знаю — вышла замуж за старого, но богатого купца. Я видела ее в опере — сидела в ложе, вся в мехах и бриллиантах.

— Вот как! Не думал. Ну, а тот, великан с Волги?

— Тот на чем-то попался. Из университета вон, а дядька, что его воспитывал, не принял. Пошел по кабакам и спился.

— Жаль...

— А помнишь Лейкина?

— Как же, конечно, помню. Он за мной, как нянька, ходил и карандаши чинил.

— Посмотри на него теперь! Держи шапку, а то упадет. Я хотела с ним повидаться, две недели добивалась и так и не дождалась аудиенции. Разыгрывает генерала, только эполет нехватает!..

***

Однажды, рано утром, Уварова разбудил чей-то визгливый голос. Дверь распахнулась, на пороге показалась Майкина, за ней шел Вейш. Вид у нее был растерянный: волосы растрепаны, кофточка на груди расстегнута, юбка еле держалась на одной пуговице. На ее толстых ногах чулки сползли, но она, повидимому, не придавала этому значения.

— Это кошмар! — визжала она, — распущение! Никто ничего не смотррит. Нахальство прямо в самом городе... Я спрошу вас: где охрана? И что Демидова смотрит? Я вас спрошу: что она делает? Это кошмар!

Вейш объяснил Уварову, что в эту ночь произошло массовое убийство — семь партработников были убиты неизвестными людьми. Картина везде одна и та же: хозяева связаны, рты заткуты тряпками, а проживавшие у них партработники — с перерезанными горлами в их кроватях. Но что замечательно — что все они оказались евреями, неевреев не тронули.

— Вы понимаете, как раз евреи, — это не случайность! Что хозяева не помогли, — не верю, это сговорено. Всех хозяев в тюрьму, там все узнаем. Это надо немедленно, сейчас...

Вейш не слушал Майкиной, он сел к Уварову на кровать и спокойно рассказывал все, что видел. Ни-

чего не изменили, ждут следователя. Убитые лежали на местах, и хозяев не развязывали.

— Идите в обком, я сейчас приду.

— Демидова телефонировала в Киев. Высылают юристов для расследования. Предполагают, что это — дело партизан, зеленых, что живут по лесам.

***

Уваров волновался, что ему все еще не шлют командировки в деревню. Столько времени он здесь, сколько мог бы уже сделать! И решил, не ожидая распоряжения из Киева, самому походить по окрестностям, выяснить настроение. Он наметил себе план, но перед отходом решил заглянуть к Павловым. День клонился к вечеру, и он рассчитывал застать Костю дома. Входная дверь не была закрыта, и Уваров вошел в переднюю. Два военных стояли у окна и о чем-то спорили.

— Дома Павловы?

— Сына не видал, а старик больной, он никуда не выходит, — сказал один из красноармейцев и указал дверь их комнаты.

Миша слегка постучался и вошел. Комната, бывшая столовая Павловых, была завалена собранными со всех комнат вещами. Постели не были постланы, и на столе валялись остатки еды и грязная посуда. Высокое трюмо из гостиной лежало вдоль стены на полу. Создавалось впечатление, что люди, живущие в этой комнате, не замечают окружающего их беспорядка и не ищут уюта.

В глубоком мягком кресле у окна, спинок к входной двери, сидел старик Павлов. Он смотрел в даль уходивших полей. Вид Павлова, превратившегося в несколько лет в дряхлого старика, вся обстановка, в которой он его нашел, произвели удручающее впечатление на Мишу. Он понял, как тяжело переживает семья Павловых большевизм, понял, что они никогда с ним не примирятся и что ему здесь не место. Первым движением его было уйти, пока никто его не видел, но в этот момент Павлов обернулся, со словами:

— Костя, это ты?

Краска сбежала с лица старика, при виде Уварова. Он не произнес ни слова и резко повернулся опять к окну.

— Вот я вернулся с фронта и зашел поздороваться. Я работаю здесь, — сказал Миша тихим голосом.

Ему искренно было жаль старика, человека, которого он любил, как отца, и уважал. Он помнил, как Павлов, его как своего сына, напутствовал и провожал на войну. Ему жаль было старика! Он понимал, как тяжело ему переживать падение старых устоев, но, вместе с тем, Миша и себя чувствовал правым, ни в чем не виноватым, считал, что иначе не мог и не должен поступать. Пренебрежение Павлова задело в нем чувство гордости, самолюбия. Он выпрямился, высоко поднял голову и громко, отчетливо произнес:

— Извините, я не думал, что мое посещение будет вам неприятным.

Уваров вышел из комнати. Посещение Павлова взволновало Мишу, и он не мог вернуться домой и повернул в поля, к ближайшей деревне, думая сейчас же начать беседы среди крестьян. Уваров прошел поля и вошел в лес. Птицы хлопотали вокруг своих гнезд, готовясь к ночлегу. Пахло гнилым листом и хвоей. Давно Уваров не выходил из города и теперь с наслаждением вдыхал лесной воздух и прислушивался к жизни в лесу. Вдруг что-то металлическое лязгнуло в кустах и послышались два выстрела. Пули просвистали мимо ушей Уварова. Он остановился.

— Эй, кто там стрелять не умеет, сразу два промаха дает?

— А чого панові комисареві потрібно?

— Уважай, бо нову шапку перебєш, шкода!

Послышался взрыв молодого смеха.

— Ну, как вы стрелять не умеете, так и шапки не пробьете, — сказал Уваров и засмеялся. — А где вы там попрятались? Выходи, потолкуем.

— Чого нам виходити, йди сам...

— А где вы тут? — спросил Уваров, спускаясь с дороги и входя в кусты.

— На сваленной ели сидели четыре очень молодых хлопца. Двое из них держали в руках винтовки.

— Дайте, братцы, огонька, цыгарку закурить. Вы что, из Студенки?

— Із Студенки. А що панові комисарові потрібно?

— А что вы меня комиссаром величаете, не много ли чести?

— А хто такий?

— Я только недавно вернулся с фронта.

— А звідки такий гарний кожух дістав?

— Дали, потому что одеть было нечего.

— О то добре! Піду і я, може, й мені дадуть?

— Так дадуть... у морду дадуть, ось що дадуть! — и все весело расхохотались.

„Ошибку я сделал, — подумал Миша, — надо иначе одеваться".

— А как там, в Студенке, знаете старого Петра-рыболова? Жив еще?

— Це глухого? Так це ж мій дід! А чи знали ви його?

— Твой дед? А ты ж который будеш, — Михайло иль Архип?

Хлопец на него удивленно смотрел:

— І дійсно, як це я не можу вас пригадати?

— А помнишь, я к вам с отцом приходил, Михайло нам еще червей копал под дровами, а ты еще совсем маленький был.

Архип слушал Мишу, и лицо его все шире расплывалось в радостную улыбку. Теперь он вспомнил и признал Мишу.

— Помер дід, батька комуністи забрали. Михайло з фронту не повернувся. Тільки ми з мамою, — добавил он грустно.

— А что вы здесь, сторожили кого?

— Казали, що прийдуть відбирати одяг, вирішили не давати, то нас післали тих комисарів не пропускати.

„Странно, — подумал Миша, — решение это только вчера было вынесено, а они уже знают об этом... Переоденусь и пойду сам с ними, насчет одежды для армии поговорю.

В деревню он не пошел, попрощался с ребятами и побрел в город.



Среди убитых партработников оказалась и машинистка обкома, молоденькая, очень скромная и прилежная Раичка. Срочно требовалась ей заместительница. Жители города указали на бывшую машинистку земской управы, Ирину Карловну Кох. По требованию обкома, Кох явилась на работу. Миша наблюдал за ней, и странное чувство она в нем возбуждала: очень пунктуальная, исполнительная, ее можно было бы считать первоклассной работницей. Она охотно оставалась на сверхурочные часы, делала, когда было нужно, переводы на иностранные языки. Вежлива она была одинаково со всеми, но от нее, от всей, веяло таким холодом и при ее обращении чувствовалось такое пренебрежение ко всему большевицкому строю и к каждому из них, в частности, что Мише хотелось заставить ее изменить свою точку зрения, заслужить ее доверие, уважение. Он пробовал заговаривать с нею, но она отвечала коротко и спешила прекратить беседу. Миша решил, что она находит в стенах обкома небезопасным поддерживать подобные разговоры, и однажды, когда работа затянулась поздно, он предложил ей провожать ее домой, так как одной идти небезопасно.

— Благодарю вас, — сказала она сухо, — мой жених зайдет за мною.

Не прошло и получаса, как на пороге обкома показалась высокая, стройная фигура молодого человека. Миша с первого же взгляда узнал в ней Костю. Как

родному любимому брату, обрадовался он ему. Встреча была самая трогательная, искренняя. Как близкие люди, обнялись они и сели на кушетку, стоявшую в углу приемной, и искренно побеседовали.

— Работаешь в обкоме ?

— Да, трудно, очень трудно ! Иной раз теряю веру, что удастся ввести жизнь в нормальную колею. Знаешь, все мы люди неподготовленные. Трудно нам, весь аппарат государства расшатался до корня. Пропаганда контрреволюционная тоже делает свое дело, восстанавливает население против нас. Ну, а ты ? Где ты работаешь ?

— Я получил работу на заводе Вейсберга, работаю по приемке кож, даже специализировался. Некоторые мне советуют уехать в другой город, где не знают, что я бывший офицер.

— А это совсем лишнее. Что значит — бывший офицер ? И я тоже офицер царской армии. Это не играет никакой роли. Раз ты не занимаешься контрреволюционной пропагандой . . .

— Нет, это — нет ! Да и, правду тебе сказать, я не верю, чтобы прежний режим мог бы вернуться, — уж слишком он потерял доверие масс. Нужно что-то совсем новое для России. Посмотрим, как будет с коммунизмом. Конечно, большевики делают некоторые ошибки . . .

— Костя ! — резко перебила его Ирина Карловна, — я устала, идем домой !

Она быстро оделась и ушла в сопровождении своего жениха. Некоторое время Уваров еще просидел за своим столом, переживая такую радостную встречу со своим другом. Несколько раз хотелось ему спросить у Кости о Наденьке, но что-то его останавливало. Костя ничего о ней не говорил, быть может, не хотел. На прощание Костя обещался зайти к нему на дом. Там они могут смело обо всем поговорить.

Уваров шел домой и уже обдумывл, о чем он будет говорить с Костей: как расскажет о трудностях их работы, выскажет досаду, что затягивается это канитель. А так хочется взяться за работу по своей специальности и начать свою личную жизнь! Жить можно в городе или деревне, как того Наденька захочет. Наденька! При этом слове, при одной мысли о ней, как и радостно и больно сжималось сердце в груди! Любит ли она его попрежнему? Или, быть может, годы изменили ее отношение? Его работа в обкоме, — как она относится к этому? Он отгонял мысли, боясь их, и все же надеялся, что не забыла, не разлюбила она его.

С каждым днем все с большим нетерпением он ждал Костю, но напрасно, — время шло, а друг его не приходил. Затем, он заметил, что, вместо Кох; в обкоме работает другая машинистка; но значения этому не придал.

Как-то однажды, совершенно случайно, он просматривал списки „ликвидированных", и в глаза ему бросились два слова: „Павлов, Константин". Он вскочил на ноги. Что? Это не ошибка? Костя убит? Кем, когда; за что; — как это вообще могло быть? Ведь списки должны проходить через обком. Ведь дела Павлова не было вовсе! Какое и кем было ему предъявлено обвинение?

— Товарищ Вейш, — обратился он к латышу, — как это может быть, что Павлов... — он не мог произнести слова „расстрелян".

— Пафлоф, Константин, — произнес Велш с латышским акцентом.

— Но когда, за что? Как это случилось? Почему я об этом ничего не знал?..

Но тут на него набросилась Майкина:

— Да, да! Разве я не говорила? Вы всегда будете тянуть их сторону. Это ваши приятели, друзья... Я

вообще не понимаю, что вы здесь потеряли! Что вы здесь делаете? Как вы попали к им в работники?

— Товарищ Майкина, это вы зря. Товарищ Уваров имеет в прошлом большие заслуги. Я читал отзывы о нем из Красной Армии. Да и вообще, теперь не время. Надо ценить каждого партработника.

Миша не слушал, что говорила Майкина, ни возражения Вейша. Он не мог собраться с мыслями. Костя Павлов расстрелян! Вдруг спазма сдавила ему горло, голова стала какая-то легкая и в глазах потемнело. Он вскочил в соседнюю комнату, где собирались члены обкома и приезжие из Киева, и, не помня себя; ни к кому не обращаясь, закричал:

— Этого допускать нельзя! Такого безответственного самоуправства допускать нельзя! Если они, без суда, без обвинения, будут расстреливать ни в чем не виноватых людей, тогда понятно, что народ возмущен, что он ненавидит нас, что он убивает наших партработников. Я понимаю возмущение народа... Мы на фронте боролись, а вы в тылу разрушаете наши завоевания. Мы прогоняем одного врага, а вы здесь создаете другого, еще более опасного!..

— Успокойтесь, товарищ! — к нему подошел приезжий из Киева. — В чем дело?

— Дело в том, — вмешалась Майкина, что здесь был известный контрреволюционер, сын полковника. Мы нашли нужным его убрать. Ну, а т. Уваров его очень жалеет. Ну, конечно, это друг! Он тоже из их компании...

Вейш подошел к Уварову и постарался его увести, так как он боялся, чтобы Уваров не хватил Майкину чем „тяжелым по голове". Он вывел его во двор. Свежий воздух и спокойный голос латыша несколько успокоили Уварова. Он вернулся в обком и принял участие в совещании.

— Как это могло произойти? — спросил он Демидову, когда они остались одни.

— Очень просто: если им кто не нравится, они сообщают в Киев. Того человека вызывают в Киев для допроса. Ведут на станцию к ночному поезду, стреляют в затылок и говорят, что, при попытке бежать; был застрелян.

— Но ведь это же разбой!

Демидова ничего не ответила.

— Ну, скажи, Демидова, что может помочь наша пропаганда, если они подрывают всякое доверие?

Демидова молчала. Лицо ее, вся ее фигура выражали такую усталость, апатию...

— Я думаю завтра съездить в Киев, надо кончить с этими „зелеными"...

На следующий день был назначен сбор одежды для армии. Судьбе было угодно нанести Уварову еще один удар: при распределении участков по сбору обуви и одежды для армии, ему попался как раз тот, где проживали Павловы. В первый момент он хотел отказаться или с кем-нибудь поменяться, но что-то остановило его. Если он пойдет сам, то Павловы избегнут возможности грубых выходок со стороны красноармейцев. Если он прав, собирая для армии, он не должен смущаться. Кроме того, если ему все же будет мучительно, то своими страданиями он искупает то несчастье, что принесет его сбор одежды у обнищалого населения. И он пошел.

С чувством выполнения тяжелого долга, он вошел, в числе пяти человек, в дом Павловых. Они не ожидали обыска и ничего не успели припрятать. Комвзвода Калмыков, входя в комнату, произнес обычные слова:

— Мы собираем одежду и обувь для армии. Потрудитесь указать, где находятся ваши запасы.

Полковник Павлов, неизменно сидевший в своем кресле, отвернулся от вошедших и ни слова не проронил в продолжение всего обыска. Только нервное постуки-

вание его пальцев о ручку кресла говорило о его нервном возбуждении.

Ирина Карловна не находила нужным скрывать своего отношения к вошедшим и выражала это в каждом движении, в каждом слове и звуке голоса. Только стоявшая посреди комнаты в растерянной позе Анна Павловна пробовала отстоять последние крохи своего имущества. Она умоляюще смотрела на Калмыкова и жалким, плачущим голосом взывала к его состраданию:

— Товарищ, помилосердствуйте! Да какие же у нас могут быть запасы? Вы сами знаете, два раза уже собирали. Мы отдали все. Что осталось, — это одежда, что дети одевают на работу. Пожалейте нас!..

— А где одежа, что осталась после вашего сына? спросил Калмыков.

Ирина Карловна смеряла Уварова с ног до головы:

— Да, костина одежда вам будет впору, вы с ним одного роста.

Уваров ей ничего не ответил.

— Товарищи, — продолжала Анна Павловна, — то, в чем был сын одет, назад не вернули, а запасной одежды у него не было. Только пальто. Оно висит на вешалке.

— Эй, ребята! — скомандовал Калмыков, — не трать время открывай шкафы!..

Красноармейцы, привычным движением, стащили со стола скатерть и без разбору бросали все, что находили.

— Боже мой! Да что же это такое? — растерянно взывала Анна Павловна. — Михаил Васильевич, защитите!.. Михаил Васильевич!.. Миша! — вдруг вырвалось у нее из груди, как стон, как крик отчаяния.

Уваров стоял бледнее полотна. Он собрал все оставшиеся у него силы и тихим, но твердым голосом произнес:

— Мы, конечно, знаем, что у вас, да и вообще у всего населения, давно нет никаких запасов, и мы берем у вас самое необходимое, быть может, последнее.

Но армия окончательно голая, босая. В таком состоянии мы не можем ее оставить к зимней кампании. Эта необходимость и заставляет нас.

Вещи связали в узлы, вынесли и положили на стоявшую у ворот телегу. Когда Уваров проходил мимо Ирины Карловны, она громко, отчетливо бросила ему:

— Предатель!..

Миша удивленно посмотрел на нее, не сразу поняв смысла этого слова. Но пройдя немного, он понял. Ирина Карловна связывала казнь Кости с их разговором в обкоме. Но Уварову не стало ни больно, ни обидно, — он сам так глубоко переживал смерть друга, что чувствовал горе Ирины Карловны и понимал, что от горечи она могла быть и несправедливой. Наденька во время обыска стояла в темном углу коридора и через открытую дверь наблюдала за всем происходившим в столовой.

Когда они вышли, Ирина Карловна подбежала к Наденьке.

— Ну, ну, скажи — и теперь ты будешь его защищать? Разве это не наглость, подлость, цинизм? Только самый последний мерзавец мог бы решиться на такую низость. Чтобы самому придти в ваш дом, обирать последние вещи... Какое ты теперь найдешь ему оправдание?..

Наденька стояла неподвижная. Ее лицо горело неестественным румянцем. Она бессознательным взглядом смотрела перед собою и, как бы отвечая не на иринин вопрос, а на свою собственную мысль, ее запекшиеся губы прошептали:

— Бедный, бедный Миша!..

Анна Павловна подошла к дочери, обняла ее тихо, молча повела в соседнюю комнату, усадила возле себя на диван и долго молча гладила ее по руке и по плечу, прижимала к груди ее голову, и так, в тиши, они обе переживали свое горе, без слов понимая друг друга.

Обыск у Павловых отнял у Миши все силы. С опустошенной душой вернулся он домой, сел за стол, не раздеваясь, и сидел так, с закрытыми глазами; без мысли, без чувств. Пришли красноармейцы из обкома, — Демидова уехала в Киев, и его вызывали заместить ее. Надо было разобрать собранные вещи и зарегистрировать их.

Приехал Железнов, советовался с Уваровым о сборе вещей по деревням. Уваров охотно взял на себя поездку по деревне, — так хотелось, хотя на время, уйти из города и обкома. Утром приедет Демидова, он передаст ей дела и с радостью поедет по деревням.

***

Демидова вернулась из Киева, собрала отряд партийцев, поставленных для охраны города.

— Товарищи, зеленые бандиты держат в терроре деревню — грабят, насилуют, не дают вносить положенной нормы. Деревни, внесшие, они жгут. До сих пор зеленые свирепствовали в пределах деревни, но вот на-днях, как вы знаете, они вторглись в город и убили многих из наших работников. Этому надо положить конец! В Киеве сейчас свободных войск нет, и раньше двух-трех недель они нам прислать не могут. Так долго ждать мы не можем и сами, из своей среды, должны выделить отряд.

— Легко сказать! Попробуй сама!..

— А ты скажи, где те три отряда, что на зеленых ходили?

— Куда подевались те три отряда, не могу вам сказать, так как ни один человек назад не вернулся. Думаем, что часть их заманили салом и водкой, а кто не перешел, — убили. Вот пойдем, выясним и ликвидируем.

— Лови в поле ветра! Кто их поймает?..

— Товарищи, кто там? Выходи — потолкуем.

— Да я ничего... Да я только так... А вот, что скажет Дрозд...

Дрозд был старый матрос-водолаз, из Архангельска. В партии он состоял давно, с молодых лет. Говорил он мало и пользовался уважением.

— Ну, что, Дрозд ? Как ты скажешь, как полагаешь ?

— Что ж, пойти можно, — ответил Дрозд, вынимая изо рта трубку и сплевывая слюну на пол, — только как с городом будет? Мы уйдем их ловить по лесам, а они, тем часом, город разграбят и людей перережут...

— Нет, конечно, нет ! Всем идти не годится. Человек пятьдесят, не больше ... И я с вами пойду.

— Братики ! — раздался веселый голос молодого парнишки, Митьки — братики, идем в деревню! Говорят, от вишен сады ломятся! А девочки — уух! — еще краше вишенок. — При этом он так причмокнул, что вызвал громкий взрыв хохота.

Идти решили, не откладывая — с утра.



Вышел отряд рано, до зари. Идут они по широкой „Екатеринке". Идут — росу с травы сбивают. А и широки они, дороги, что проложила Великая Екатерина по всему лицу Руси. Обсадила она их четырьмя рядами берез. И тянутся нескончаемые хороводы кудрявых столетних красавиц, ласкают друг друга динными ветвями, шепчутся болтливыми листочками. А как ни высоки березки, все ж не могут своей тенью покрыть дорогу. А как ни широка дорога, бывало, в старое время, вся изъезжена, изрыта колеями. Тянулись по дорогам нескончаемые возы и обозы. Скрипели телеги, визжали на них привязанные поросята, мужики погоняли лошадей, торопились к базарному дню. Тянутся вереницы крестьянок с лукошками и мешками за спиной, за ними вприпрыжку бегут босоногие ребята. Жизнь кипит на дороге !..

А теперь ? Тихо — ни конного, ни пешего. Не идут разряженные бабы к празднику Николая Угодника, образу поклониться, не спешит молодица яички про-

дать — себе обновку купить. Не тянутся вереницы богомольцев ко святым местам, не спешат мужики к базару и не едут из города веселые, не поют песен... Тихо на дороге! Заросли колеи зеленым ковром, только птички в березах порхают и щебечут, радуясь восходу красного солнышка...

Вышли матросы, партийне работники, защитники революции и ее опора, — вышли они из города на простор полей. Пахнуло на них запахом земли, и сбежал с них весь революционный партийный налет. Почувствовали они себя людьми земли, связанными с нею неразрывными нитями, ее детьми. Почувствовали, что все их интересы в земле и природе, — в них их жизнь и радость.

Разбился отряд на малые части. Идут, вдыхают свежий утренний, бодрящий воздух. Радуются восходящему солнцу.

— Хорошо им тут землю работать. Гляди, какой чернозем! Тут тебе и без навоза вырастит и родит. Глянь, яровые поднялись! Попробовали бы на нашей поработать!..

— А что на нашей? Мы с батькой лядо расчищали, посеяли, первый год рожь выросла, — человек на коне едет — только голова видна.

— Это уж известно — на ляде первый год! А попробуй у нас — что ни холмик, то песок, что ни низинка, то болото.

— А и что болото? Болото не беда. Вот у нас соседная деревня запрудила речку, — затопило все луга. Девятнадцать лет тянулась тяжба. А тут пришел анженер, говорит: „Что, братцы, в тяжбе толку, давайте канавы копать". Ну, конечно, правильный сток воде дали, так, знаешь, — луга! Трава росла, что коса не брала.

— Да, большое дело — уход за землей. И песок...

Тут подбежал Митька:

— Братики! Вот беда! Шапки не взял!..

– Да на что тебе шапка?

— А куда вишни класть?

— Так чего не брал?

— Горазд стара! В старой девочки любить не будут.

— А ты с девочками полюбезней. А вишни — в рот. И шапки не надо.

-- Как не надо? А в чем я своей крале вишен в город занесу?

Все захохотали: — Уж больно ты прыткий!..

Шли партийцы полями, и у всех одна и та же дума на сердце:

— Скорей бы эта волокита кончилась, скорей бы домой!.. Чай, женка одна бьется в хозяйстве, а ребята повырастали и отца не узнают...

Только Демидова с Дроздом шли, беседуя о предстоящем походе.

— Надо бы порасспросить, — сказал Дрозд, видя невдалеке пахаря.

— Здравствуйте! — сказала Демидова: — Помогай Бог!

— Дякуємо.

— Что это вы, уж под озимь готовите?

— Під озимину.

— Хорошая у вас земля, у нас, на севере, много хуже.

— Земля добра, — согласился пахарь.

— А как вам тут живется? Не беспокоят зеленые?

— Як не беспокоят? Ще вчора були.

— Вчера были? — с участием переспросила Демидова: — И что же они делают?

— Як що? Як кожний раз: Їли, пили, грабували, питали, чи носили норму на армію. Ну, як ми казали, похвалили та пішли.

— А куда они пошли?

— Казали, у Заполе.

— У где это Заполе?

— Недалеко. По шляху верств три, опісля у бік верстов дві буде. А нащо вам?

— Да вот мы идем, хотим помочь вам, надо же деревню защищать.

— О то добре! Хай вам Бог здоровля дає, а вони хай causeздихають.

Демидова ласково попрощалась с пахарем и догнала отряд.

— Какие они милые, эти хохлы, такой добродушный народ!

— Ну, не очень-то, — возразил Дрозд, — им особенно не верь, не так-то они просты.

Между тем, как отряд немного отошел, пахарь вскочил на коня и галопом в деревню. Он издали уже кричал жене:

— Гапка! Біжи по хатам, а я піду в Заполе. Прийшли знову бісові діти, біжи скоріше!..

А сам спустился к Днепру и вдоль реки поскакал к Заполью.

Отряд двигался по полям. Демидова ласково беседовала со всеми встречными крестьянами. Шутила, шалила с детьми, всех расспрашивала про зеленых. Показания все сходились: были поздно вечером, наелись. напились пьяные и вот по этой ложбинке спустились к Днепру. Много их не было. Вооружены плохо. И теперь, вероятно, где-либо в кустах пьяные валяются.

— Вы их голыми руками возьмете.

Дрозу не хотелось идти дальше. Разведку сделали и довольно. Но Демидова, предвидя легкую победу, решила идти их разыскать. Отряд подошел к самому краю обрыва и остановился в изумлении. Не может человек быть равнодушен, когда природа показывает ему свое величие в красоте. Они стояли на высоком нагорном берегу Днепра. Перед ними расстилались бесконечные дали заливных лугов. Днепр, блестящей лентой делая мягкие изгибы то вправо, то влево, уходил; теряясь на горизонте. Гористый берег, на котором они

стояли, отдельными уступами вдавался вперед, придався всей картине особенно причудливый характер. Не могут слова выразить чувство восторга перед природой. Отряд стоял в молчании, подавленный величием картины.

— Вот так здорово ! — послышался веселый голос Митьки. — Ребята, сыпь к реке, давай купаться ! Горазд хорошо !..

И, не дождавшись своих товарищей, побежал по крутому спуску к реке. За ним пошли и остальные. Тропинка вела в узкое ущелье, промытое в глинистой почве весенней водой. Как только отряд достиг самого узкого места, внезапно раздался залп, за ним второй. третий. Со всех сторон затрещали пулемты. Люди метнулись обратно, но отступление было отрезано. Бросились вперед, чтобы выйти из зоны огня, но струя пулеметов провожала их до реки. Ясно было, что они попали в ловушку. Немногие добежали до реки, но и тех, что бросались в воду, пули доставали.

Демидова стояла у самого берега реки, как окаменелая. Жестокая, страшная мысль пронизывала ее голову. В одно мгновение ей стало ясно, что эти самые крестьяне, с кем она так дружески беседовала, для чьей защиты от зеленых она шла с отрядом, крестьяне, для чьего благополучия она отдала свою жизнь, этот народ, чьи интересы были для нее выше ее собственных, личных интересов, кому она отдала, пожертвовала свою жизнь, — этот народ ненавидит ее... убивает — ее.

Вся тщетность ее жертвы выросла перед ее глазами, как чудовищный призрак. Она видела, как ее любимец, Митька, с выражением полного недоумения на лице, бросил на землю винтовку и, протягивая обе руки вперед, подвигался медленно навстречу струе пулемета.

— Братики, погодь стрелять-то ! — говорил он, — чего стрелять ? Погодь, потолкуем. Ведь мы ж таки

самы мужички, как вы! И мы боремся за нашу мужицку долю. Братики, погодь стрелять!..

— Он не договорил своих слов, пошатнулся и, как сноп, свалился на землю, подкошенный пулеметной струей.

Демидова смотрела перед собой остановившимся взглядом. Она не искала спасения и не видела, как обезумевшая, озверелая толпа партийцев бросилась на нее, считая ее виновницей постигшего их несчастья. Не видела она, как какие-то металлические полосы сверкнули на солнце совсем близко возле нее, и острая боль пронизала все ее тело. Сознание потухло. Озверелые люди подняли несчастную девушку на штыки, вскинули на воздух, бросили оземь, снова вскинули и бросили, ревели, топтали ногами и сами падали, образуя груду умирающих, трепещущих тел.

Только один единственный человек уцелел от всего отряда, — это Дрозд. Он подбежал к обрывистому краю реки. Последний пулеметчик, сидевший в кустах у реки, повернул на него пулемет. Но в этот момент, прежде чем броситься в воду, Дрозд широким крестом осенил себя. Дрогнула рука у пулеметчика на мгновение, — на мгновение, в которое Дрозд успел броситься в реку. Вода закрылась за ним, и он исчез. Как опытный водолаз, он плыл под водою вниз по течению, лишь изредка набирая новый запас воздуха.

Далеко вниз по реке выплыл Дрозд. Осторожно подплыл к кустам и спрятался в них до темноты. Ночью вылез и пробрался наверх по круче. Наверху перед ним было вспаханное поле. Земля высокими глыбами лежала длинными бороздами, гребни их обсохли на солнце и окаменели. Дрозд, боясь идти по полю, решил пробираться ползком.

* * *

В обкоме шло заседание. Было уже за полночь. Вдруг в дверях появился Дрозд. Одежда на нем была

вся изорвана, грудь и лицо окровавлены, и весь он покрыт черной пылью. К нему бросились с расспросами.

— Ну, и повезло тебе! Один из четырех отрядов уцелел.

— Говоришь, — повезло? — переспросил Дрозд. — Скажи, что на мне на одном крест на груди висел!.. — и он показал на медный крестик, висевший на веревочке вокруг шеи. — Не боюсь ни насмешек ваших, ни угроз: Бог мой защитник!

Двое из „комиссаров" переглянулись. Этот взгляд Дрозд уловил.

— Жаль, — сказал один из них, — старый партиец!..

И эти слова он тоже услыхал, и, как „старый партиец"; он хорошо знал, что это не к добру. Дрозд пошел в госпиталь, разбудил дежурную сестру. Она омыла его и перевязала более глубокие ссадины.

— Как это ты так?

— Полем полз, оцарапался.

Сестра дала ему смену белья и предложила лечь на койку.

— Нет; спасибочко. Я уж на свою пойду, там привычней...

Больше Дрозда никто не видал. Предполагали, что он попытался пробраться к себе на родину, в Архангельск.

Деревню Заполье и прилегавшие к ней деревне решили сжечь совсеми обитателями.



Если обыск у Павловых отнял у Уварова последние силы, то смерть Демидовой выбила его из колеи. Он чувствовал себя во враждебном лагере и не находил в себе сил для борьбы. Он машинально ходил в обком. где считался, благодаря партстажу, как бы первым секретарем, а Вейш его помощником. Просматривал и подписывал бумаги, делал распоряжения относительно

вопросов, решенных на собраниях, но все это безжизненно, как бы во сне. На заседаниях он председатель-ствовал, но к прениям был безучастен. Однажды он несколько позже засиделся в обкоме. Вошел Вейш с каким-то свертком в руке:

— Вот подпиши.

Уваров взял перо для подписи, но случайно скользнул взглядом по бумаге: это был тридцать один смертный приговор. Рука его дрогнула и остановилась. Его мозг пронизала как бы раскаленная игла. Подписать смертные приговоры людям, которых он никогда не видел... Даже их имен не слыхал. Он не читал их дел, не знает, в чем их обвиняют, не слыхал их оправданий Он подпишет приговор и тем утвердит его, сделает законным. Рой мыслей и ощущений нахлынул на него. Он отложил перо в сторону, со словами:

— Сейчас нет времени. После.

Вейш ни слова не ответил. Он вышел. На дворе его ждала Майкина.

— Ну, если я тебе говорила — куда он годен? Дурак и больше ничего. Что он себе думает! Нам очень нужна его подпись? Дурак. Формальность и больше ничего. Я тебе говорила, ты мне не верил. Теперь ты видишь сам. Что надо сделать, и без него сделаем, а его скорее убрать можно. Помнишь, как он кричал за того, Павлова? Ну, чего еще?

Уваров снул списки в карман и пошел домой. Со времени смерти Демидовой, никто не прибирал его комнату, и дома ему было неуютно и холодно. Не снимая шинели и шапки, он бросился на кровать и сейчас же уснул.

Приснился ему странный, жуткий сон и такой яркий, как действительность. Снилось ему, что стоит на небольшом холме и хочет с него сойти и пройти в поле. Но в какую сторону он ни шел, всегда натыкался на груды тел — мертвых и еще живых, умирающих. Наконец, он понял, что трупы образуют вокруг него

кольцо, и чтобы выйти в поле, ему неизбежно нужно наступись на эти тела. Он решается, делает несколько шагов, тела под его ногами корчатся, трепещут, стонут; кричат. Его ноги покрываются человеческой кровью. Он закрывает рукою глаза, спотыкается, падает, от ужасна кричит и пробуджается.

Не сразу может прийти в себя от пережитого кошмара, но постепенно сознание, что это был только сон, облегчает его состояние. Да... это был только сон: Он вздохнул с облегчением. Но взгляд его скользит по комнате и падает на сверток, лежащий на столе. Нет, этот кошмар — не сон! Это — действительность, жизнь. Он должен наступить на эти тела. В его сознании мелькнули когда-то слышанные им слова: „Слабая власть преступна, так как влечет за собою ненужные жертвы".

Он встал. Взял перо, подписал, не читая, все тридцать один приговор, сунул сверток в карман. Еще нет одиннадцати, Майкина будет в тюрьме. Быстрыми шагами направился он к зданию тюрьмы и вызвал Майкину. Сквозь толстые тюремные стены в коридор, где он стоял, проникали отчаянные, нечеловеческие крики. „Это Майкина снимает показания"; — подумал он. Если бы Уварову пришлось дольше ждать, быть может, нервы и не выдержали бы, но дверь отворилась, и Майкина скользнула в коридор. Лицо ее было возбужденное, красное, глаза горели неестественным блеском.

— Ну, еще чего вам надо ?

— Я принес приговоры.

— Это вы должны были сделать у в обкоме. Только задерживаете. Все равно, до утра все будет готово.

Она протянула руку за свертками. Уваров заметил кровь на ее руке. Быстрым движением передал он сверток и вышел.

Силы оставили его. Шел бессознательно, но все же пришел домой. Уваров заболел. В чем выражалась его болезнь, он не отдавал себе отчета. Он не вставал с

кровати, лежал дни и ночи, курил папиросу за папиросой. Он не мог сказать, думает ли о чем, или нет. Если бы хозяйка не приносила ему из казармы обед, он не заметил бы, что голоден.

На службе никто не замечал его отсутствия. Вейш исполнял его обзанности, и жизнь в обкоме шла своим чередом. Однажды пришел к нему Вейш.

— Ну, что ты так? Это не есть корошо, — сказал добродушно латыш, дружески потрепав его по плечу.

Уваров посмотрел на его и не сразу понял его слова. Вейш, краснощекий, плотный лаыш, всегда здоровый, энергичный и никогда не терявший присутствия духа, искренно был расположен к Уварову и доброжелательно повторил:

— Не корошо. Надо быть здоровий.

Уваров было приятно посещение Вейша. Ему хотелось постараться высказать все, что сжимало его сознание, и он прямо здал вопрос:

— Скажи, Вейш, как ты думаешь, правильно ли мы делаем, что убиваем людей?

— Как так?

— Кто дал нам это право, — распоряжаться чужим имуществом, жизнью? Не слишком ли много мы берем на себя?

— Ну, да. Это так и есть, для такого, как ты; это трудно.

— Ты говоришь — как я. А каков же ты?

— Ну, да, ты все думаешь, мучишь себя. Думать нельзя — это не момент, чтобы думать. Теперь надо делать. Дело — это главное, а если каждый будет думать, тогда дело станет. Есть время думать и время делать. Революция не думает, только делает. Война тоже делает и не думает. Это время... И сколько мир существует, были и революция и война.

— Да, но мир же идет к прогрессу, к гуманности...

— Ну, — протянул Вейш, — трудно сказать, кто гуманнее, ученые дикари или неученые. Истинкт у всех

все тот же. Трудно сказать, в каких войнах и революциях человек больше проявил свое зверское начало, — в древние века, в средние или в наше время, которое должно было бы быть самым гуманным. Мир — это море. Такое оно было, есть и будет. Жизнь — это волна. Я представляю ее, как огромный вал. Те люди, что внизу вала, бедные, темные; тяжело работают. Те, что наверху; — тем открыт широкий горизонт и все возможности пользоваться благами жизни. У них есть время и возможность жить красиво, наслаждаться искусством. Творчество, духовная жизнь, религи, наука, литература, философия; — все для них. Это время мысли, решения величайших задач.

— Но наступает момент — нижний человек теряет терпение. Ему не страшно, ему нечего терять, кроме терпения. Ненависть, зависть, надежда на лучшую долю, а главное — чувство мести. Вот что толкает вверх по валу. Идет лавина! На пути все ломает. Разрушение опьяняет — нет ничего святого. Все топчется в грязь, физическая сила торжествует. Плотина прорвана, и кто может остановить поток? А ты говоришь: кто дал право убивать их? Приговор давно подписан, раньше тебя. Волна сметает людей и богов. Если Бог с ними не солидарен, — они Его отвергают. Им не нужны такие понятия, как истина, нравственность, красота, законы, правда; родина, семья, — голая сила, сила кулака торжествует!

— Теперь, когда тебя захватил поток, стой на своих слабых ногах и старайся удержатся среди этого пенящегося потока. Пришло их время достигнуть вершины. Достигнув, подберут осколки и начнут строить. Имеем ли мы право!.. Милый, наивный человек!..

Уваров слушал. Ему было приятно ощущение, что мысль его начинает пробуждаться, как от тяжелого сна.

— Скажи, Вейш, какой ты, собственно; школы?

— Кончил основное училище и техническое, но с семнадцати лет в партии. Там получал литературу для

самообразования. — Вот я тебе говорю, что значит момент, — вернулся Вейш к своим мыслям, — тебе жаль людей. Жалость — чувство мирного времени, когда старушка жалеет сиротку. Теперь не время жалеть ни сиротку, ни старушку. Вот хотя бы и ты. Ты сам идешь к гибели. Ты потерял веру, ты — уже мертвый.

— Так что ж! — усмехнулся Уваров, — что ж, вы меня ликвидируете?

— Нет, этого совсем не требуется. Большею частью, люди в таких случаях сами себя убивают, потому что не видят смысла продолжать жизнь. Жаль мне, очень жаль, что ты так скоро сдал, — работники нужны. Советую — брось думать. Вставай, иди на совещание. Мне нужно, чтобы ты меня поддержал. Придешь?

— Да, приду, — сказал Уваров спокойно.

— Вот это корошо. Так я тебя жду.



„А, собственно, что изменилось? — думал Уваров по уходе Вейша. — Ведь все осталось по-старому: я попрежнему глава обкома. Ни мой стаж, ни мои заслуги перед революцией никто оспаривать не может. Эти дни, что я пропустил, — так что ж, могу же я поболеть! Оденусь, пойду на заседание, возьмусь энергично за работу. Прав Вейш — теперь не время для философии; надо работать!

В обкоме начали собираться, но на присутствие Уварова никто не обращал внимания, — больше того: он заметил, что если подходил к разговаривающей группе, сразу все замолкали и расходились.

Заседание началось, но, вопреки тому; что Уваров являлся главой обкома, вышло как-то так, что председательствовал Вейш. Когда подняли вопрос о сборе одежды по деревням, Уваров начал:

— Я полагаю, что правильнее будет, если мы снарядим...

Майкина не дала ему докончить мысли:

— Товарищи! Это еще откуда пришел такой господин? Он намеревается выражать свои мысли, как будто нам очень интересно его слушать!.. Откуда он, собственно?

Подогретый общим пренебрежением, Уваров от слов Майкиной вспыхнул.

— Вы хотите знать, откуда? Извольте. Я состою, с восемнадцати лет, в партии. Шел во главе полка и, благодаря моему руководству, одержаны три победы. Да, товарищ Майкина, это были победы, без которых вы, товарищ Майкина, не смогли бы так спокойно жить в тылу и загонять гвозди под ногти вашим жертвам.

Майкина вскочила с места. На своих коротких, кривых ногах, она подскочила к Уварову с поднятыми кулаками.

— Товарищи! — визжала она, — вы слышали? Вы все свидетели, как он сказал... Вы слышали! Этот контрреволюционер, он их жалее: „жертвы"!.. Вот когда он сказал свои правильные слова! С фронта его прогнали вон! Прогнали у в тыл — нам на пересмотр. Ну, я его сразу поняла, долго не смотрела... Товарищи, разве это революционер? Разве это работник? Я вам скажу — это старая офицерская калоша, что бил солдат по морде, — вот кто это! Пусть он не думает, — мы с ним еще поговорим!..

Когда Майкина волновалась, слюна брызгала сквозь ее редкие зубы, глаза метали молнии, а голос хрипел от горловой спазмы. Больших усилий стоило присутствующим успокоить ее и заставить замолчать. Мнение Уварова было выслушано и принято. Но все же Уваров чувствовал, как все избегали поддерживать с ним разговор, как-то сторонились его. Только Левка Гуревич подошел к нему. Его лицо выражало искреннюю заботу, — сочувствовал... Он дружески положил руку на мишино плечо и сердечно проговорил:

Мишук, что ты так разнервничался? Не стоит все это принимать к сердцу. Завтра утром я к тебе зайду перед отъездом, поговорим.

Уваров шел домой. Его догнал Вейш.

— Зачем ты так? Это необдуманно, так говорить не годится. Эти самые „жертвы"... Она может взять их как базу. Не забудь, у тебя тогда с расстрелом Павлова тоже произошел инцидент. То, что она болтает, значения не имеет, но ты сам неосторожен. С такими бабами лучше не задираться. Если она захочет, может много тебе повредить, и мы не будем в состоянии тебя защитить.

***

„Вот и Вейш, и он тоже опасается Майкиной, — думал Уваров, оставшись один. — Вот и эти члены собрания, многие старые работники, а говорить со мной избегали. Все боятся ее, Майкиной. Вот она, та темная сила, которой и Демидова боялась! Кто они? Какие их цели? Нас, старых партработников, они отстраняют или заставляют подчиняться своей воле. Красную Армию и рабочих они использовали, как физическую силу. А нас, партийцев, — как организаторов, руководителей, пропагандистов. Да, или служи целям Майкиной и веди народ к еще большему рабству,или... или гибнуть за стенами тюрьмы."

Холод пробежал по спине Уваров — ему показалось, что он и сейчас слышит крик пытаемых. Виновен ли он перед народом, что ввел его в обман? Нет, он сам был обманут. Но дальше он обманывать и обманываться не будет, довольно! Глаза открыты, мысли ясны, решение определилось.

Он не убьет себя, в минуту афекта, в минуту нервнаго расстройства, безумил... Нет! Его решение — логический вывод, единственный выход.

Уваров открыл стол, шкаф, чемодан; пересмотрел все вещи. В кармане френча, вместе с паспортом, лежала фотография Наденьки. Долгим, нежным взглядом он попрощался с ней: „Прости, родная, что долг свой я поставил выше нашего чувства”... Потом подошел к печке, раздул угли и положил на них паспорт и карточку. Закрыл дверку печки, одел шинель и шапку и ушел. Он направился в обком.

***

Дверь была открыта, Растянувшись на диване, спал красноармеец, возле него, на полу, валялась винтовка, керосиновая лампа коптела.

— Ишь, раззява! Его вместе с винтовкой вытащат, он не проснется!..

Сперва хотел разбудить и „цукнуть”, но раздумал, махнул рукой, поправил фитиль лампы и подошел к своему столу. Привел в порядок бумаги. Написал Вейшу:

„Прощай, товарищ Вейш! Ты был прав: такие люди, как я; убивают себя сами. Не ищите меня”.

Уваров вышел из города. Хотелось уйти далеко, еще раз вздохнуть чистым запахом леса, слиться с ним душой и навсегда остаться в нем. Шел он, не торопясь. Решение покончить жизнь внесло покой в его сознание. Не нужно решать мучивших его вопросов, можно последние минуты быть самим собою.

На окраине города, на высоком берегу реки, расположилось живописное кладбище. Как часто они с Наденькой сидели у самого обрыва, слушая, как перекликаются соловьи в ветвях цветущей акации! Он перепрыгнул через плетень и пошел к самому обрыву. Без мысли и без чувств сидел он на траве, наслаждаясь охватившим его чувством покоя.

Он то сидел с закрытыми глазами, прислушиваясь к тишине, его окружавшей, то вглядывался в чуть освещенные ночным небом дали.

Вдруг на горизонте вспыхнул огненный столб, и сразу небо стало багровым. „Что это, пожар ?

Он вспомнил, что в сегодняшнюю ночь приводят в исполнение приговор, вынесенный семи деревням: сжечь, со всеми обитателями.

Одним прыжком Уваров сбежал с обрыва в долину: „Напрямки, через луга!..” Зарево пылало на его лице, глаза горели безумным блеском.

Деревню подожгли ночью, когда люди спали мирно после трудового дня. Мгновенно пламя захватило сухую солому крыш. Люди, проснувшись, бросались к дверям, но они были подперты кольями. С трудом выламывали двери, окна, падая, задыхаясь от жары и дыма.

Те, кому удалось выбраться из хат, образовали толпу на улице. Они тщетно искали выхода — их встречала струя пулеметав.

Красноармейцы окружили деревню, за ними стояла вторая цепь, — партийцев. Этим было приказано зорко следить, чтобы не было „послаблений или измены”. Следить за красноармейцами, друг за другом.

Когда Уваров добежал до пожара, вся деревня была объята пламенем. Вопли людей сливались с воем огня и треском пулеметов. Уваров издали кричал, маша руками:

— Прекратите огонь!.. Остановитесь! Отменили!.. Приказ из Киева по телефону!

Красноармейцы остановили пальбу и вопросительно смотрели на линию партийцев. Уваров подбежал к начальнику отряда.

— Поздно, — проговорил тот, — остановить невозможно. Сам видишь!..

Толпа крестьян, почувствовав замешательство в одном пункте и заметив, что стрельба прекратилась, ринулась вперед. Обезумевшие люди бросились на красноармейцев. Те снова открыли огонь, но остановить

толпу уже не могли. Крестьяне смяли солдат и партийцев, пробивая себе дорогу для спасеня.

Какой-то парень, с обгорелым лицом и одеждой, подбежал к Уварову. Он держал в руках кол, которым была подперта дверь его хаты. Ударом кола он свлил Уварова на землю, другой мужик размозжил его череп топором.

Линия была прорвана, люди разбежались по полям и лесам.

***

Тело Уварова было найдено среди убитых партработников. Члены обкома высказали предположение, что Уваров, как опытный полководец, стал во главе карательного отряда и погиб героем за революцию.

Их предположение было последней ошибкой в жизни Уварова.

Вейш предложил почтить память заслуженного старого партийца вставанием. Все присутствующие поднялись с места. Только Майкина демонстративно осталась сидеть.

Ее поступок был светлым, ярким лучом, озарившим память Михаила Уварова.

конец

Издание книж. магаз. „СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР"
1852 Bathgate ave., New York 57, N. Y.

Printed by „Dnipro", 77 St. Marks Place, New York, N. Y.